

**ЗОЯ ЖУРАВЛЕВА**



**ТРЕБУЕТСЯ ГЕРОИНЯ**

# Зоя Евгеньевна Журавлева

## Требуется героиня

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=159647](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159647)*

*Зоя Журавлева «Требуется героиня»: Издательство ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия»; Москва; 1969*

### **Аннотация**

Повесть об актерах нестоличного театра

«Мне нравится влезать с головой в другие профессии. Но наслаждение, которое я испытала, забравшись в театр со служебного входа, пожалуй, острее всех впечатлений последних лет. О театре написано немало, но мы все равно почти ничего не знаем о повседневном актерском труде, мучительном и благородном. Как почти ничего не знаем о повседневном труде рядовых газетчиков, хотя все читают газеты и судят о них вкрявь и вкось. По напряженности пульса между театром и газетой удивительно много общего. Поэтому наш Петрозаводский театр всегда будет для меня свят, как первая газета».

**З. Журавлева**

# Содержание

1	4
2	14
3	39
4	67
5	80
6	104
7	131
8	153
9	183
10	195
11	221
12	242
13	256

# Зоя Журавлева

## Требуется героиня

### Повесть об актерах нестоличного театра

## 1

Первый акт повторяли дважды, очень кстати. Второй раз Юрий даже успел попробовать еще один вариант. На секунду внутри блеснула свобода, как на хорошем, наезженном, десятом спектакле. Свобода хозяина положения, когда можешь все. И снова сорвался. Но что-то все-таки получилось. Хрупко, не удержать, сам не успел запомнить. Но что-то все-таки вышло. Наташа удивилась, чуть затянула паузу, чуть растянула реплику, как у нее всегда, если волнуется. И нашлась почти сразу. Подхватила. Юрий благодарно сжал ее руку, по мизансцене – все нормально. Наташины пальцы понимающе дрогнули.

– Дальше пошли! – крикнул Хуттер из зала.

Не остановил. Не остановил.

Пошли дальше. Второй акт начали почти чисто. Чистенько. Ничего. А если вот так? Ага, не зря все-таки бессонная

ночь.

Теперь монолог Витимского. На этом и сели. Лягнулись. Витимский, как всегда, сказал текст своими словами, склероз все-таки или просто лень – даже интересно. Но Витимский – это не оправдание, просто Юрий сразу наврал, и все полетело. Просто тут пока дырка, тут непонятно. Самому непонятно, что же нужно, вся надежда на Хуттера.

– Повторяем со слов: «Я бы еще мог...»! – крикнул Хуттер.

Повторяем? И только?

Повторили. Нет, опять ложь. Только гладкая. Обманем себя и зрителя, на это техники хватит.

– Молодец! – крикнул Хуттер.

Кто-то молодец. Дальше. Теперь вот так. Немножко еще. Что-то опять стеснилось внутри – огромное, освободительное. И лопнуло, вдруг ослепив. Кажется, так. Рано обрадовался, опять не удержал...

– На сегодня хватит. – Хуттер взглянул на часы и сморщился. – Ого, заработались. Десять минут четвертого. Уже! К пяти тридцати – всем на фабрику.

Про фабрику Юрий успел забыть.

– Юрий Павлович, задержитесь, пожалуйста...

Юрий прыгнул в зал. Подошел. Присел возле Хуттера, сдвинув с кресла сиротский чехол. В какой «уцененке» они раздобыли такой трогательно-сиротский?

Хуттер незряче ткнул в микрофон сигаретой, сказал:

– Любопытно.

– Я уж думал, совсем ничего не вышло, – сказал Юрий, сразу и сладко осовев от этого «любопытно», так бы тут и заснул сейчас в кресле. После приятного рабочего дня.

– Потому что я тебя ни разу не остановил?

– Ага, – сказал Юрий, нежась.

– Во второй картине ты, конечно, не дотянул. Нашел себе формочку и купаешься, это называется играть состояние. И в шестой сразу слишком серьезен, там серьезность только в конце. Тогда будет сильнее.

– Я там вообще не знаю... – начал Юрий с жаром.

Но Хуттер перебил быстро:

– А с Наташей ты здорово повернул. Вдруг высек чувство.

– Сам меня вчера натолкнул.

– Сам? Гм. Не совсем.

– Конечно. Я же сегодня подошел сбоку, как ты сказал.

Поза неловкая, неестественный выверт шеи, мышцы идиотски напряжены. А Наташка от неожиданности вдруг не дышит. Стою, а она не дышит. И книга у нее вдруг далеко, какое, к черту, читает...

– Я заметил, – кивнул Хуттер.

– Прости, я же не объясняю. Просто себе, вслух. Я чувствую, что больше так уже стоять не могу. Физически не могу, мышцы не держат. И тут вдруг как понесло! И вроде получилось.

– И с директором есть теперь путь. Можно из него сде-

лать...

Витимский не сделает. У него роль готова: научная величина со странностями, хоть сейчас на премьеру.

– Ты к нему несправедлив, – засмеялся Хуттер. – Помнишь, он делал грузина, с базара не вылезал, даже переписку вел с Поти. Нет, на первом этапе он ищет.

– Больно уж у него он быстро кончается, первый этап.

– Это, конечно, есть. Витимский копилку закрыл, ключик выбросил, и тут уж он работу закончил, не приставайте, Тут он, конечно, несовременен.

– Ладно, дело не в нем, – отмахнулся Юрий. – Я к тебе чуть в четыре ночи не притащился. Потом, думаю, может, чушь, просто решил попробовать.

– Не чушь, – сказал Хуттер. – Весьма любопытно. Только понимаешь, какая петрушка... – Хуттер слегка замялся. – Просто это несколько не из той пьесы.

– Почему же? Это Чехова кощунственно углублять, там лишь бы самому дотянуться. А здесь, по-моему, в самый раз.

– Вот именно. Это же не Чехов, не Горький, не Лев Толстой.

– Неплохо бы нам к ним вернуться, – сказал Юрий. – На вторсырье мы слегка застряли, ты не находишь? С ними жить было как-то поинтересней, тонус в театре был. Может, пора?

– Это другой разговор, – усмехнулся Хуттер. – Пора, если есть идеи. Простым прочтением уже не отделаешься.

– Ага, – сказал Юрий, окончательно проснувшись. – А тут

можно попросту, без особых идей. Но поднадоело.

– То, что ты выдал сегодня, уже идея. Хоть и сырая.

– Спасибо на добром слове, – засмеялся Юрий.

– Ты не дослушал. Это, конечно, интересно, но, повторяю, – из другого спектакля. Совсем другое решение, и мы на него сейчас, со сроками и со всем, просто не потянем.

– Придется поднатужиться, – сказал Юрий, еще не понимая.

– И не нужно сейчас нам тужиться. И при этой трактовке к тому же ты сразу всю пьесу гребешь на себя...

– Не гребу. Просто укрупняю героя.

– Это ему вредно, – сказал Хуттер. – И одновременно проваливаешь все остальные линии. Зачем же так укрупнять?

– Чтобы была, извиняюсь за хрестоматийность, личность. Он же у нас все-таки физик, а не дворник. И талантливый, как все вокруг говорят.

– А до премьеры-то десять дней, – напомнил Хуттер.

– Не понимаю, – сказал Юрий. – «Варшавскую» ты перелопатил за семь, когда вдруг увидел, и со скандалом отодвинул премьеру. Считал, что стоит свеч. Значит, ни черта сегодня не вышло, так и скажи, я же не режиссер. А при чем тут дни?

– Вышло, но не пойдет.

– Ты серьезно? – спросил Юрий. Тело ломило по всем измерениям: спать надо ночами – вот что. Кресла у них в театре бездарные, как в таком кресле наслаждаться искусством?



Было бы чем наслаждаться.

– Нет, это несерьезно, – сказал Юрий.

– Вполне. Остановимся на старом рисунке. А это пока отложим на будущее, у нас еще все впереди.

– Значит, забыть, – сказал себе Юрий.

– Наоборот, запомнить. Мы к этому еще вернемся.

– Вернуться, конечно, можно. Еще никуда и не отошли, так что прямо ничего не стоит вернуться. Как скажешь, так и будет.

– Будет неплохо, – сказал Хуттер.

– Конечно, – сказал Юрий. – А на фабрику обязательно?

– На фабрику? Можно бы заменить, если б раньше. Все небось разбежались. Устал?

– Не с чего, – сказал Юрий. – У фабрики встретимся.

В гримборной Наташи уже не было, не дождалась. На всякий случай Юрий спустился в буфет. В буфете тоже была пустота. Только за крайним столом кассирша Сима Никитична торопливо доедала салат, фирменное актерское блюдо.

Буфетчица, выдаивая из толстого бачка остатки кофе, радостно сообщила Юрию:

– Завтра палтус будет. Холодного копчения, еле выпросила в торге. Наташе передай, не забудешь?

Это она любила в своей профессии. Копченый окунь достать, или постную грудинку, или растворимый кофе в сверкающих банках, совсем уж невероятное дело. Сбиться с ног,

а достать, порадовать актеров, не приспособленный к жизни люд.

– Обязательно передам.

– Это не ты пять рублей до получки брал? – спросила буфетчица.

– Не я, – засмеялся Юрий.

Когда Юрий впервые появился в актерском буфете, только-только приехав в город, она встретила его точно таким же вопросом: «Это не ты до получки брал? Нет? Значит, не ты! А похож, такой же высокий, из себя черный». Юрий тогда даже несколько растерялся, но тут дружно вступилась вся очередь: «Это же новый! Володька брал. Из оркестра...» – «Володька так Володька», – с удовольствием согласилась буфетчица.

Буфетчица у них уникальная. Всем дает в долг, всех кормит в кредит. Записывает где-то там на бумажках и сразу теряет. Первое время Юрию все казалось, что вот-вот она вылетит в трубу. Но буфетчица уже давно работала, много лет. Не вылетела. Как-то у нее в общем сходилась, дебет с кредитом. Хотя рассчитывать она могла только на совесть, когда теряла свои бумажки. Теперь Юрию уже даже приятно было смотреть на эту буфетчицу, которая все забывает. Видеть ее на посту. Всегда веселую. Как незыблемое свидетельство их общей честности. Как доказательство порядочности родимого коллектива.

– Яйцо, может, сварить? – еще сказала буфетчица. – Быст-

ро!

Но Юрий уже выскочил в коридор. В раздевалке тоже никого не было, пальто сиротливо болталось на пустой вешалке. По привычке Юрий еще пробежал глазами доску приказов и расписание. Нового ничего. Выходной завтра, слава богу, не отменили, на этот счет никогда нельзя быть уверенным. Нет, не отменили.

Одеваясь, Юрий привычно слушал, как дежурная, баба Софа, рассказывала пожарнику:

– Сейчас на дежурство иду и батюшка встречь. Благословил. А меня и ожги, как сковородой: в проклятое ж место иду!...

Тоже фигура у них в театре эта баба Софа. Рябая и бескомпромиссная. Дежурная при служебной двери и при телефоне.

Входившим с улицы она говорила бандитским голосом: «Ноги, ноги вытирай! Не в лавку пришел!» Когда с ней прощались, она говорила: «Ладно», или «Чего там!» И взмахивала рукой, будто отпускала актерам многочисленные грехи. Баба Софа была богомольна, лично знакома с самим батюшкой, единственным на весь город, каждый день ходила в церковь. Театр баба Софа считала проклятым местом и не уставала отмаливать свою там работу. Работала она в театре давно, дольше всех, всегда. Директора помнила еще сопляком бесштанном и каждую премьеру с пристрастием смотрела из директорской ложи. А когда спрашивали про впечатление,

быстро крестилась и говорила только: «Гореть будем! Огнем будем гореть!» Но во время спектакля часто смеялась толстым бандитским смехом, и директор грозил ей пальцем через плечо – кого другого давно бы из ложи выгнал.

– Наташа мне ничего не передавала? – на всякий случай спросил Юрий.

– А чего ей передавать? – сразу переключилась баба Софа. – Пождала да пошла. С Морско-вым под ручку пошла. Еще засмеялась: «Счастливо, – говорит, – баба Софа...»

– Спасибо, – сказал Юрий.

– Наташа с Морсковым пошла, а тебе как раз тут звонила женщина. Голос такой приятный, – баба Софа поискала слово и нашла, – приятный, женский. Увидеться, что ли, ей надо с тобой. Она, что ли, придет. Либо ты придешь, я даже не помню.

Вот так баба Софа всегда, через нее только передавать.

– Какая женщина? Вы не спросили?

– Мне чего спрашивать, – отмахнулась баба Софа. – Она имя сказала, да мне ни к чему. Таня как будто. Или, может, Люда.

– Лена? – сказал Юрий.

И все в нем остановилось. Лена ему в театр никогда не звонила, за все эти годы – ни разу. Только, конечно, с Борькой. Спокойней, спокойней. Если бы что-нибудь важное, если бы с Борькой, она бы его нашла. Просто так она бы не позвонила...

– Лена, – важно кивнула баба Софа. – Лена и есть.

## 2

Перед фабрикой была толпа, прямо давка. Юрий едва пробился, пришлось приложить силу. Застучал в дверь.

– Открывай, дядя!

Вахтер, театральную хилоту которого только подчеркивал просторный ватник, делал за стеклом вид, будто читает газету. При напряженности момента и сумеречном свете в дежурке занятие это было явной липой и вызовом. Бутафорская газета ерзнула в щуплых пальцах, но сам вахтер даже не повернул головы.

Парни, сгрудившиеся кругом, хором объясняли:

– Не требуемся!

– Они себе солдат навезли. Шефов с голенищами.

Видимо, осада проходной длилась уже давно, потому что в лагере осаждающих уже чувствовался разброд.

– Может, к дорожникам в техникум, а?

– Там тоже по билетам...

– А если у меня тут невеста? – весело спросил кто-то прямо в затылок Юрию.

Щуплый вахтер отбросил газету и вдруг гаркнул через стекло крутым, как кипяток, голосом:

– Баба чугунная тебе невеста! Сказано – закрытый вечер.

Позавидуешь темпераменту. В хилом-то теле.

Рядом бесшумно возник Хуттер. Плотный, даже толстый

для своих сорока двух, он легко двигался в любой толпе. Стекла пенсне лихо взблескивали на крепком носу. Есть в Хуттере располагающая определенность. Лоб над пенсне казался сейчас особенно широким и крестьянским. Это сам Хуттер любил повторять: «За моим широким крестьянским лбом...»

Пенсне присунулось к самому стеклу, дружелюбно блеснуло вахтеру.

– Тут нас где-то ждут, – негромко сказал Хуттер.

Щуплый вахтер напряжился, но не успел плеснуть киятку.

– Ой! – весело пискнуло в глубине дежурки. – Это ж артисты!

Крюк крякнул, нехотя отпуская дверь.

Бдительный вахтер все-таки сосчитал всех по головам, сверяясь с руководящей бумажкой. Юрий посторонился, пропуская своих. Вошел за Наташей, последним.

Крупная девушка с очень узким тазом, в желтой девчоночьей кофточке, повела их по коридору, говоря без умолку:

– Ой, а мы без вас даже не начинаем. Все собрались и ждем. Мы же для всех на целый час раньше назначили, чтобы вам не ждать. А они как раз вовремя собрались, как нарочно... А я вас сразу узнала, – это уже персонально Хуттеру. – Один раз по телевизору видела и сразу, конечно, узнала. Я лица исключительно запоминаю! Меня специально в дежурке поставили, чтобы сразу узнать... Ой, а вас я ни за

что не узнала! – Юрий даже вздрогнул – это, оказывается, уже ему. – Я же вас в бороде видала, пьеса – забыла как называется. Вы еще в экспедиции были, а потом приехали в бороде. Мы как раз все смотрели, по плану...

Юрий невольно улыбнулся. Пьеска была смешная, без претензий, и работать в ней было весело, как в капустнике. Борода только мешала, эту бороду Юрий чуть не потерял на премьере, отклеилась.

Он еще улыбался, а девушка вдруг посерьезнела, поправила желтую кофту, остановилась и сообщила почти строго: – Со всеми вопросами можете обращаться ко мне. Я к вам сегодня прикреплена от комитета...

Общественница. «Прикреплена» – такие слова Юрий переносил трудно.

Но девушка уже утомилась официозом и закончила весело:

– Ой, я же даже фамилию не сказала! Зовите просто Галя.

– Очень приятно, – сказал за всех вежливый Хуттер.

Галя долго вела их куда-то широким коридором. Обильная цифирь на стенах усиливала его казенность. В пронумерованные двери шмыгали девчонки с охапками пальто, косо и быстро взглядывая на Галю. Галя пресекала любопытство прямым, останавливающим взглядом. Как ей лестно вести: актеры все-таки. Гм, понятно.

Проходная уже давно осталась позади, но оттуда все еще доносились шквальные вскрики осаждающих и крутой голос



вахтера. Судя по всему, ему приходилось нелегко.

– И всегда на вас такой спрос? – улыбнулся Хуттер.

– Это с механического парни, соседи, – сразу поняла Галя. – Думают, может, буфет. – И добавила по справедливости: – Воскресенье же! Деваться тоже куда-то надо. А мы как раз воинов пригласили, шефов. Зал маленький, не вмещает.

Поднялись еще по лестнице. Галя открыла дверь.

– Раздевайтесь, пожалуйста. Прямо на столы можно, если гвоздей не хватит.

Комната, щедро уставленная шкапами, была дочиста прибрана. Папки со всех столов аккуратно сложены на окне. Даже чернильницы собраны вместе. На маленьком, с табуретку, сейфе сидела девушка, бледная, как моль. Девушка стесненно поднялась, когда они вошли, и неловко застыла.

– Архипова, – сказала ей Галя, – рздень товарищей и смтри! чтоб никуда из комнаты!

От твердых Галиных согласных явственно запахло субординацией, это уже чересчур. Архипова молча кивнула.

– Смтри! – еще раз сказала Галя.

Наташа, с облегчением сбрасывая шубу, улыбнулась Архиповой:

– Чуть подмажемся, да? Наведем красоту...

Но Архипова не вышла из роли бессловесного стража, даже не улыбнулась. Она молча достала из шкафа зеркало и поставила перед Наташей.

– У нас все продумано, – засмеялась Галя.

Хуттер все-таки еще попытался вовлечь Архипову в разговор:

– Как у вас тут уютно! – И даже руки потер: как тепло, как хорошо, как по-домашнему. И пенсне его располагающе блеснуло на крепком носу.

Но Архипова промолчала, а Галя ответила гордо:

– Мы же с утра готовились...

Только когда все уже собрались идти в зал, Архипова тихонько потянула начальственную Галю за желтую кофту:

– Галь, а кто за линоль отвечает?

И Галя сказала с порога громко и весело:

– Это не твое дело. Ты тут смтри. А за линоль Вербицкая отвечает, она в курсе.

Тогда уже Юрий не выдержал.

– Пойдемте с нами, – сказал он бледной Архиповой. – Правда, пойдемте! Чего тут весь вечер сидеть? Ну, кто эти шмотки тронет, что вы, ей-богу?

– Конечно, – поддержал Хуттер. – Можно в конце концов просто запереть дверь. Идемте!

Архипова покраснела и даже сделала было несколько живых движений. Но тут же снова увяла. Потому что Галя, категорическим взором удерживая ее на посту, сказала строго:

– Нет. Она же дежурная. Ее же выделили.

– Тогда я тоже останусь, – сказал Юрий.

Архипова смешно испугалась. Всплеснула руками и застыла.

А правда, ужасно вдруг захотелось остаться в этой комнате. Оседлать маленький сейф, как табуретку. Закурить, скидывая пепел в старую непроливайку. Рассказать этой вялой девчонке, Архиповой, что-нибудь смешное. Чтобы забыла, наконец, про нелепую свою ответственность за чужие пальто. Чтобы выпрямилась. Засмеялась в открытую. Громко. Прямо чтобы помирала со смеха. Чтобы Юрий услышал, наконец, ее человеческий голос.

И себе заодно настроение бы исправить. За компанию. Вернуть себе старый рисунок роли и успокоиться – чего проще.

Но еще этот звонок Лены. Никогда в театр не звонила, и вдруг – звонок...

– В другой раз как-нибудь, Юрий Павлович, – весело сказал Хутгер, переводя дело в шутку. А между тем, цепко ухватив Юрия за локоть, уже выводил его из комнаты.

Пришлось подчиниться.

В зале уже было тесно. Но как-то до странности пусто в то же время. Сразу не поймешь даже отчего. Видимо, ощущение пустоты возникало от разобщенности. Девушки, которых было тут огромное большинство, табунились замкнутыми группками. Редко кто вольно переходил из одной в другую. В группках стесненно прыскали. Пристрастно оглядывали входящих в зал. Свободного разговора не было слышно, только глухое шушуканье. Как за спиной. Когда в дальнем углу кто-то громко засмеялся, многие головы поверну-

лись туда, как показалось Юрию, удивленно. Будто смех на вечере отдыха был непонятной бестактностью.

– Это что же они? По цеховым интересам? – шепнул он Наташе.

– Так всегда вначале бывает, – пожала плечами Наташа. – Потом разойдутся.

– Не похоже, – сказал Юрий.

– Ты просто уже забыл, как это бывает...

Тут к ним подскочила Галя, прикрепленная, видимо, намертво. Она сняла свою желтую кофту, отчего плечи ее раздались шире, а таз стал еще уже.

Наташа заговорила с Галей с той ласковой снисходительностью, которую Юрий узнавал мгновенно и прямо терпеть не мог. Так Наташа говорила с женщинами, которых мысленно и навечно зачисляла в разряд убогих. Это по меньшей мере невеликодушно. Хотя сейчас, рядом с прикрепленной Галей, Наташа выглядела контрастно, ничего не скажешь. И свитер плавно стекал с ее плеч, струился. Хоть и был толстым, нарочито грубым. И приглашенные воины уже оглядывались. Нельзя сказать, чтобы это было Юрию неприятно.

– Понимаете, Галочка... – задушевно говорила Наташа.

– Будь хоть на пол-лаптя выше, – негромко сказал Юрий.

– Выше чего? – со стороны можно было подумать, что она действительно не расслышала.

– Себя, – уточнил Юрий, отходя быстрым ходом.

Но он еще услышал вдогонку:

– Какой он у вас чудной!...

Бесцельно помотавшись по залу и всюду чувствуя себя отчаянно чужим, Юрий примкнул, наконец, к группе Хуттера. Хуттер, конечно, не терял времени даром. Окруженный новобранцами в аккуратных подворотничках, он выяснял драматургические симпатии Вооруженных Сил. Чтобы на ближайшем худсовете можно было небрежно бросить: «Вот недавно на швейной фабрике я как раз на эту тему беседовал с молодыми воинами...» У директора, начисто лишённого какого бы то ни было дара общения, в таких случаях сразу бессильно отвисает челюсть, и репертуарная политика Хуттера получает единогласную поддержку.

– Так что же вы все-таки имеете против Брехта? – с удивлением услышал Юрий напористый голос Хуттера.

Ого, значит, дошли уже до Брехта. Оппонент Хуттера, типовой мальчик из интеллигентной семьи, явно затруднился.

– Может, просто сложно? – напирал Хуттер.

– Я бы сказал иначе... – начал оппонент, но опять запутался и ничего связного не сказал.

– Может, просто непривычно? – уточнил Хуттер.

– Мне кажется... – начал было розовый оппонент.

– А чего там «кажется», Гринь, – вдруг сказал басом его сосед, какой-то четырехугольный парень, самый замшелый из всех. Юрий бы голову прозакладывал, что такому увальню лишь бы крутить ручку от трактора, уж никак не Брехтом мозги засорять. – А чего там сложного! Хотя непривыч-

но, конечно, – тут парень сдавленно хмыкнул, будто мяукнул бенгальский тигр. – У вашего Брехта одни проститутки...

– Как будто других профессий нет, – вдруг неожиданно для себя выпалил розовый оппонент.

Тут все разом грохнули. А Хуттер, тот даже присел от смеха. Это был первый взрыв настоящего веселья на вечере. Такой заразительный, искренний взрыв, что народ сразу потянулся сюда со всего зала. И что-то теплое, настоящее, теперь непременно наладилось бы – это по глазам было видно. Сразу вдруг появились глаза. Раньше были стриженные затылки, челочки, начесы и виртуозные патлы, а теперь вдруг в открытую заблестели глаза. Распахнулись, зажглись и заблестели.

Но тут как раз подплыла административная фигура. В черном костюме. С высоким бюстом. На очень высоком бюсте нескромно и со значением сидел крупный комсомольский значок. Юрию никогда еще не приходилось видеть, чтобы простой, хороший, с детства знакомый значок сидел так вызывающе нескромно.

– Начинаем, товарищи! – сказала фигура, игнорируя общее веселье замкнутым выражением очень правильного лица. – Прошу садиться. Артистов попрошу пройти в президиум.

– Может, лучше пока в зале? – весело, по инерции, сказал Хуттер. – Мы уж тут вместе сядем, с новыми друзьями.

Но друзья уже как-то растеклись по залу. А фигура вежливо выслушала Хуттера, вежливо улыбнулась и объяснила:

– Своих гостей мы бы хотели видеть в президиуме...

Потом крепко сдравила руку Хуттеру, сразу за ним – Юрию, значок мелькнул где-то совсем рядом, в непозволительной близости, и она представилась:

– Сбоева, культсектор.

– Бронебойная женщина, – задумчиво подытожил Хуттер, влезая на сцену по шаткой лесенке. – Я прямо боюсь за себя.

Стол президиума был обыденно шероховат. Юрий с удовольствием погладил его рукой, пока не видит никто. За таким приятно сидеть. Простой избухой стол на одну большую семью. Или что-нибудь вроде. Но тут Юрия очень вежливо попросили посторониться, и ловкие девушки тут же, на глазах, упаковали стол в потертую суконность. Это сразу стал совсем другой стол, за которым надо сидеть очень прямо и смотреть только вперед. И сверху, по скатерти, сразу обильно вошли графины с водой.

– Вот теперь можно. Садитесь, товарищи!

Сзади, в глубине сцены, крупные буквы напоминали присутствующим, что все в них должно быть прекрасно. И тело, и мысли, и платье. Слишком велика наша любовь к Чехову, чтобы размениваться на лозунги в каждом клубе. Юрий сел, чувствуя Чехова даже спиной. Было горячо и неудобно – не то за себя, не то за Чехова.

Пока рассаживались, Хуттер переживал вздох:

– Нет, ты слыхал, Юрий Павлыч?! Утилитарны и чисты – вот в чем разгадка. Даже не подумаешь, как чисты. Снегири!

Небось три раза на день своей пионерочке пишут и рядом с ней, на одном ряду, стесняются Брехта смотреть, как бы чего не подумала. Мини-рыцари с десятилеткой!

Чтобы умерить чрезмерный энтузиазм Хуттера, Юрий сказал:

– И я служил – не болваны были. Мы там, в своем драмкружке, такую «Оптимистическую» выдали – адмиралы рыдали.

– Ты! – восхитился Хуттер. – Ты же где служил?!

– На флоте, – с удовольствием уточнил Юрий.

– У вас же элита была. А тут простые парни.

– И тут – не стройбат.

– Брехт им, конечно, труден по форме... – опять начал Хуттер и вдруг сказал без всякого перехода: – Я последнее время об «Освобожденном Дон-Кихоте» подумываю. Есть вроде один поворот, еще до конца не знаю. Это к нашему разговору.

– И о «Живом трупе». И о «Короле Лире». Слишком много названий, о которых мы вроде бы думаем. Только в афишах ни одного этого нет почему-то.

– А ты не нервничай, – сказал Хуттер.

Тут з разговор вклинился громкий шепот заслуженного артиста Витимского:

– Боюсь, что мой репертуар не слишком подходит для этой аудитории.

Он даже фотографии друзьям так подписывал: «заслужен-



ный артист Витимский», вместо имени-отчества. Когда два сезона назад Витимского выдвинули на звание и директор, в порыве крайнего демократизма, вынес этот вопрос на худсовет, Юрий воздержался при голосовании. Худсовет, по сути, ничего тогда не решал, но этот худсовет Витимский с тех пор не забывал Юрию ни на минуту.

– Этой молодежи желательно что-нибудь попроще, – драматически уточнил Витимский. Взгляд его исполнился пронзительной рачьей печалью. Детей у Витимского не было, но он всегда искренне скорбел о молодом поколении.

– Ошибаетесь, Леонид Всеволодович, – весело сказал Хуттер. – Это народ подкованный. Мы с ними как раз только что беседовали о Брехте. Очень компетентно беседовали, вот Юрий Павлович не даст соврать.

– А я все-таки боюсь, что все эти частые выбросы на предприятия – очередная авантюра дирекции в ущерб творческому лицу театра.

– А вы не бойтесь, – не выдержал Юрий. Получилось грубо.

И подумал, что ничего хорошего у него не выйдет на этом вечере. Просто он не в состоянии сегодня взять на себя этот зал. Поднять его высоко и светло. И самому подняться до Паустовского, которого он собирался читать. И вызвать в себе и в них высшую человеческую сродненность, когда вдруг отступают все мелочи и весь мир чувствуешь голубым. Большим домом, где ты за каждого готов отдать жизнь, и за тебя

– каждый.

Но сегодня ничего не получится, понял Юрий. И к аудитории это, во всяком случае, не имеет ни малейшего отношения.

Между тем Сбоева, торжественно дыша бюстом, уже стояла на трибуне. Трибуна под ней казалась просто детским стульчиком. Сбоева строго смотрела в зал и ждала. Под взглядом ее зал послушно затих. Тогда Сбоева сказала:

– Попрошу товарищей побыстрее занять передние ряды.

Несколько первых рядов действительно пустовало. И в конце зала, в дверях и вдоль стенок даже стояли. И сидели сзади тесно, как воробы на проводах. Ежась, охорашиваясь в тесноте, но не в обиде, и еще плотнее прижимаясь друг к другу.

– Я жду, товарищи, – строго сказала Сбоева.

Но товарищи толкали друг друга в бок, пересмеивались втихомолку и отводили глаза от сцены. Потом одна фигура, наконец, поднялась, отделилась от масс, процокала каблучками по проходу и уселась в первом ряду, заняв едва полкресла. Это была Галя. Осталось только тайной – проявила ли она личную инициативу или просто выполнила очередное поручение. Пример ее так и не заразил никого.

– Девушки, мы же вас ждем, – уже человеческим голосом почти попросила Сбоева. Видимо, она не привыкла отступать даже в мелочах.

– Вот воспитали собраниями, – шепнул Юрию Хуттер. –

Привыкли, что надо подальше и носом в книжку, чтоб время не пропадало.

– Боюсь только, что не в книжку...

Шепот заслуженного артиста Витимского неожиданно громко прозвучал в застоявшейся тишине. Витимский смутился и шумно полез в карман за платком, двигая стулом.

Сбоева на трибуне трудно вздохнула.

– Ну, хорошо. Начнем. – Она набрала полный бюст воздуха и сообщила без пауз: – Сегодня мы с вами проводим первое заседание Клуба девушек, организованного на нашей фабрике по инициативе комитета ВЛКСМ.

– Ого! – присвистнул Хуттер. – Оказывается, клуб...

– Оказывается, заседание, – поправил Юрий.

– А я ее знаю, – шепотом объявила Наташа, пока Сбоева объясняла задачи клуба. – Я с ней как-то в кафе за один столик попала. Запомнила по значку. Она долго второе выбирала, потом говорит официантке: «Ну, этот вопрос мы с вами согласовали». Это про азу по-татарски из свинины.

– Типаж, – засмеялся Хуттер. – Вот попробуй – сыграй.

– Современного бюрократа трудно сыграть, – вдруг подал голос Петя Бризак, он первый сезон работал в театре после ГИТИСа и все больше молчал, его уже как-то привыкли не замечать в компании. – Сразу будет шарж на действительность.

– А ты не пережимай, – сказала Наташа. – И почему сразу уже обязательно «бюрократа»? Откуда ты знаешь? Может,

она двоих детей из детдома взяла и вообще к ней вся фабрика с секретами бегают...

– А как же азу? – хитро вставил Хуттер.

– Клуб будет помогать вам, дорогие девушки, воспитывать в вас вкусы эстетики, – строго объявила с трибуны Сбоева.

– Нет, она просто смешная, – сказала Наташа.

– Если с ней не работать, – мрачно уточнил Юрий, не в силах больше молча бороться со своим настроением. Сбоева чем дальше, тем больше вносила свою лепту.

– Ах, посмотрите на него, он взвалил на себя все тяготы мира, – пошутила Наташа с некоторой натугой.

– Так, Юрий Павлович, жить нельзя. Надорветесь, – сказал Хуттер с намеком. – Наше дело актерское...

– Ага, – кивнул Юрий.

Сбоева между тем под плотный аплодисмент уступила трибуну представительнице чего-то, – Юрий не расслышал. С нерастраченными еще силами представительница ринулась доказывать пользу и значение Клуба девушек.

– Первого в нашем городе! – подчеркнула она. Зал, привычный к длинному вступлению перед

танцами, внимал ей с вежливым безразличием. Предприимчивые парни курили на лестнице. Девушки, остро взглядывая по сторонам, доставали из новых туфель не приученные к модельному ноги и тихонько разминали их под скамейкой. Подруги из предпоследнего ряда уже сосчитали, сколько «о» на призыве: «В человеке все должно быть прекрас-

но». И теперь подсчитывали на время букву «е». Они были спортсменами и всегда играли на время, даже в «балду»,

Сбоева, разгоряченная многотрудным началом вечера и счастливая, что все идет, как надо, притащила стул из-за сцены и втиснула его рядом с Хуттером. Она хотела как-нибудь потом подойти к режиссеру, после торжественной части. Но деятельный зуд разрывал ее изнутри.

– Простите, – зашептала она Хуттеру, – я с вами как раз, знаете, о чем хотела поговорить...

Хуттер не знал и покачал головой, ненарочно косясь на слишком близкий и пышный значок.

– У нас есть одна девушка в самодеятельности, – четко шептала ему Сбоева, – Лидия Яценко. Она так стихи читает! Главный бухгалтер прямо плакал на вечере, как она читает. Слезами. Мы думаем, она – настоящий самородок...

– Очень может быть, – осторожно начал Хуттер, не зная еще, куда повернет разговор. В общем-то он привык, что на каждом предприятии его угощают самородками.

– Вы думаете, мы не понимаем, – вдруг обиделась Сбоева. – Мы сами, конечно, не понимаем, но к нам осенью эстрада настоящая приезжала, из Москвы. Один такой, Барсов фамилия, так прямо и сказал, что ей место в профессиональном театре.

Она с детским удовольствием выговорила: «профессиональный», цитируя, видимо, дословно. И в сбивчивом ее шепоте Юрий вдруг почувствовал настоящий жар и кровную

заинтересованность *т.* судьбе незнакомой Лидии Ященко. Может, Наташа даже права. Только все-таки не нужно бы Сбоевой в руководители.

– Видите ли, – осторожно сказал Хуттер. – У драмы и у эстрады несколько разные задачи...

– Мы только хотели попросить, от всего коллектива, – может, вы послушаете ее?!

– Когда? Сейчас?

– Нет, нет, – почти испугалась Сбоева. – Ее сейчас даже нет. Она, конечно, знала, что собираемся говорить, и не пришла даже на вечер. Стесняется.

– А что она читает? – уже по-деловому спросил Хуттер.

– Все, – гордо сообщила Сбоева. – Константина Симонова, Щипачева читает, потом... этого... Мартынова, кажется...

По заминке ее с репертуаром Ященко было видно, что они не близкие подруги. Совсем даже не подруги. Хуттер помолчал. Потом сказал как решенное:

– Хорошо. Пусть зайдет в театр завтра к пяти. Мы как раз будем прослушивать молодежь, которая метит на театральный.

– Там у вас, наверное... – опять испугалась Сбоева.

– Да нет, – улыбнулся Хуттер. – Там у нас отовсюду. Из области. Просто для знакомства.

– Спасибо, – расцвела Сбоева. – От всего коллектива.

– Пожалуйста, всему коллективу...

Но Сбоева шутки не поняла и заторопилась: ей уже давно мигали с другого конца стола, от трибуны. Звали, конечно, по делу. Она переехала туда вместе со стулом.

– Вы неутомимый ловец талантов, – шепнул Хуттеру Юрий.

– А как же? – засмеялся Хуттер. – Тебя же вот поймал.

– Но не в самодеятельности...

– У вас там почище вампука была, – сказал Хуттер.

Они с Юрием любили вспоминать свое роковое знакомство.

Юрий был тогда на гастролях в Симферополе. И давали они в тот вечер последний спектакль. Какую-то очередную стряпуху. Юрий был хорош: крутой чуб на сторону и полкило носа – так у них тогда понималась характерность.

Он задержался после спектакля и уже один сидел в гримборной. Дверь открылась, и без стука вошел человек. Ковбойка и очень пестрые носки. На простоватое широкое лицо ловко насажено хитрое пенсне. Плечи так и лезут из ковбойки. Не то самбист в отставке, не то старший товаровед центрального «Гастронома», еще не отсидевший. Юрий наблюдал за ним в тройное зеркало и сразу определил пришельца как «пыльного мужичка».

Мужичок сделал шаг от двери, согнулся и вдруг захохотал. Он хохотал, гнулся и тыкал в Юрия пальцем. И сквозь хохот приговаривал: «Нет, ты все-таки индивид! Нет, ты индивид, сознайся! Нет, ты можешь!» Юрий сначала хотел вы-

ставить мужичка вон, а потом и сам захохотал. Настроение у него последнее время было паршивое и как-то давно не хохоталось. «А что? Индивид!» – сознался, наконец, Юрий. Тогда мужичок вдруг перестал ржать, как воды в рот набрал, и принялся сверлить Юрия цепким взглядом из-под пенсне. Просверлил насквозь и сказал:

– Я вас приглашаю в дело.

– А с кем имею честь? – поинтересовался Юрий.

– Виктор Иванович Хуттер, – сказал пыльный мужичок.

– Хуттер? – переспросил Юрий, это ему ничего не прояснило.

– Русский, хоть и маскируюсь под национальное меньшинство. Если вы, конечно, про это.

– Конечно, нет, – сказал Юрий.

– Я так и думал. Так как же?

– А что за дело?

Тут Хуттер назвал город. Город был бесславный. И театр. Театр был прямо поганый, об этом театре Юрий сроду не слышал доброго слова. И то и другое он немедленно изложил вслух.

– За прошлое не отвечаю, – сказал Хуттер. – Меня там до сего времени не было.

– Люблю скромных, – сказал Юрий. И согласился. Только еще счел нужным сказать: – Между прочим, у меня спецобразования нет.

– Отлично, – сказал Хуттер. – Зато у меня два института.



Один уступаю, пожалуйста.

Шесть лет они там проработали. Тот театр Хуттер действительно вытащил. А потом перебрался сюда – помасштабнее и к центрам поближе. И Юрий за ним перебрался. Хоть были у него основания сюда не рваться. Или, наоборот, мчаться сюда сломя голову. Но это уже другой разговор, вполне личный.

«Мне что в тебе больше всего понравилось? – любил вспоминать первую встречу Хуттер. – Как ты текст с отвращением произносишь! Он, главное, твой, ты же в нем органично, другого тебе не дано. Но с каким великолепным отвращением! Как, знаешь, бывает: да, признаю – паскуда я, бяка! А себя – бяку, паскуду – люблю и ни на кого не променяю! Такое было в тебе самовлюбленное отвращение...»

Текст, верно, был скверный, сейчас зубы сводит, как вспомнишь. А внутренне оправдать надо любой текст, иначе попросту не сыграть. Любой текст, любую роль, любую пьесу, если уж за нее взялся. Вот именно, «самовлюбленное отвращение», все точно.

– Нам с тобой, слава богу, есть что вспомнить, – весело сказал Хуттер. И даже легонько толкнул Юрия локтем, не толкнул – понимающе тронул, как в лучшие времена. Сейчас это был почти запрещенный прием. Этим он все испортил.

– Есть, – согласился Юрий. – Только не слишком ли много у нас набралось общих воспоминаний? Как у стариков. Не

слишком ли мы им предаемся?

– Как прикажете понимать? – насторожился Хуттер.

– Никак, конечно, – вяло улыбнулся Юрий.

– Тише, – попросила Наташа. – Кажется, нечто новое...

Сбоева как раз предоставила слово дорогой гостье, доценту пединститута, завкафедрой педагогики.

Доцент оказалась пожилой, очень свежей женщиной. Из тех, что набирают красоту к старости. Бывают такие удивительные женские лица с правильными в старости и одухотворенными чертами, о которых невольно думаешь: «Вот была когда-то красавица», но сверстники помнят их невыразительными дурнушками. Эти женщины любят говорить о быстротечности молодости, и в них чувствуется редкое наслаждение своей осенью.

Доцент красиво объяснила залу, не забывая и президиум, почему звание «слабый пол» никого не роняет, а наоборот...

– Вспотел, кивая, – шепнул смешливый Хуттер.

Когда доцент заговорила о «девичьей гордости», у нее вдруг сделалось такое гордое выражение, что оно само по себе уже служило лучшей иллюстрацией к тезису.

Меньше всего Юрий думал, что его доконает доцент.

– Каждой девушке свойственно стараться быть красивой, и сейчас, в этом зале, я вижу эти ваши стремления, – тут она тонко, с высшим пониманием улыбнулась. – Не всегда удачные, но во всяком случае – искренние...

Юрий вздрогнул и опустил глаза, чувствуя, как щека у

него постепенно вспухает от этой пощечины, рассчитанной всему залу.

Парни в рядах сдавленно гмыкнули и закосили мимо девчонок. И заерзали, одолевая вдруг подступившую к горлу неловкость. Не понимая, откуда она. В молодости вообще трудно объясняется ощущение внутренней неловкости, а испытывается – мучительно и часто.

Девчонки неестественно застыли.

Будто ты идешь солнечной улицей навстречу людям. Молодая. Изящная. Тонкая. Новая юбка стоит на тебе голубым колокольчиком. Плечи твои легки и прекрасны. Ноги твои неустанны и каблук небрежно откинут назад, как требует мода. И всем радостно на тебя смотреть, ты это знаешь. И вдруг кто-то толкает тебя плечом и роняет сквозь зубы: «Двинься, корова! Ишь, вырядилась!»

И дальше ты уже совсем иначе идешь. Хоть и солнце то же и улица. Но плечи твои бледны от долгой зимы и сутулы, сидячая же работа. На туфли угрохано ползарплаты, как еще маме сказать. А голубой колокольчик подшит другим материалом, так что очень крутиться нельзя, не забыть бы на танцах.

До девчонок такие штуки большей доходят, чем до парней. А этим приглашенным воинам вообще ништо – у них форма. Только самообладания у девчонок больше на людях.

– Не хотела бы я у нее учиться, – сказала Наташа.

А доцент на кафедре улыбнулась и сделала долгую паузу.

Словно бестактность была крупной педагогической находкой и требовалось дополнительное время, чтобы закрепить ее в памяти.

– Тоже типаж, – сказала Наташа. – Вот так за один вечер поднаберемся для целого спектакля.

Доцент отдохнула и продолжала мысль:

– А ведь каждая девушка – это будущая мать. И ее должны уважать не только будущие дети, но и будущие отцы...

Хватит. Юрий беззвучно отодвинул стул, медленно поднялся и медленно пересек сцену наискосок. За кулисами он еще секунду помедлил, даже оглянулся. Хуттер сидел по-прежнему, глядя прямо в зал. Сбоева ничего не заметила и пожирала глазами доцента. Заслуженный артист Витимский проводил Юрия пристальным рачьим взглядом. Можно уходить спокойно: дирекция получит исчерпывающую информацию.

Юрий выскочил в коридор, закурил и стал ждать Наташу. Было бы свинством заставлять ее бегать за ним по всей фабрике.

Наташа появилась, когда зал аккуратно захлопал.

– Перекур? – сказала она. – Не мог подождать, пока кончит. Неудобно же!

– Не мог, – сказал Юрий. – Я уйду.

– Куда? – не захотела понять Наташа.

– На волю, – уточнил Юрий.

– Глупости. Ты же на работе. Пришел, посидел, ушел –

как все просто, я прямо тебе удивляюсь.

– Не зря все-таки посидел, – усмехнулся Юрий. – По крайней мере понял теперь, почему они так скверно шьют.

– Пожалуйста, только без афоризмов, – наконец разозлилась Наташа. – Люди собрались и ждут.

– А я им сейчас дать ничего не могу, – сказал Юрий, чувствуя, что справиться со своим раздражением он уже не в силах, и раздражаясь от этого еще больше. – Понимаешь? Ничего не могу! Я сейчас пустой!

– Понимаю, не можешь. А мы? А я? Ты же всех подводишь!

– Мы не в октябратском звене, – сказал Юрий, зная Наташину правоту и не принимая ее сейчас, стараясь только, чтобы голос его звучал ровно. – И не на канате работаем, парой. Просто ты прочитаешь им Блока и расскажешь о работе над новой ролью. А я не прочту и не расскажу. И все.

– А Хуттеру, думаешь, приятно?

– Не думаю, – сразу устал Юрий.

– Ты с ним после репетиции долго сидел? Я так и не дождалась, хоть в буфет забежать успела. Как он отнесся?

– Нормально, – сказал Юрий. – Он отнесся нормально.

И тут только понял, что этот разговор с Хуттером он не сможет обсудить даже с Наташей. Оказывается, не сможет. Есть вещи, в которых необходимо разобраться совсем одному.

– Вот видишь! – обрадовалась Наташа. – А ты хочешь

опять нарваться на неприятность. Думаешь, Хуттер без конца будет с тобой возиться?

Вот этого ей не нужно было говорить.

– Пока, – сказал Юрий.

– Мало тебе Сямозера, – еще сказала Наташа его уходящей спине.

Этого тем более не следовало говорить. И не думала она так.

Он бросил, не оборачиваясь!

– Ага, мне всегда мало...

Наташа еще постояла в коридоре. Потом вернулась на сцену.

На улице шел снег, сыпал в лицо мелкой крошкой. Юрий подставлял снегу все лицо, шею, руки. Снег почему-то не охлаждал, жаркий какой-то снег. Мартовский, весенний уже. Юрий опять перебирал сямозерский день. В подробностях. Нет, все так.

### 3

Это был рядовой плановый выезд в далекий поселок, за сто сорок с чем-то километров. Таких выездов выпадает штук пять на зимний месяц. И актеры относятся к ним, как к неизбежности. Твоя очередь работать на выезде – и ты едешь. Берешь валенки у соседа, старое пальто, если оно есть, свитер под него, все теплое, что сможешь найти дома, – и готов.

До Сямозера ехали долго, продирались через заносы. А сначала еще ругали шофера, что настоял на слишком ранней отправке. Но уж театральный шофер эти дороги знает! Пока мужчины разгребали сугробы, женщины отплясывали летку-енку среди метели. Петя Бризак бегал вокруг с фотоаппаратом, ему внове. Потом ехали дальше, до следующего заноса.

И в автобусе было, как всегда, душевно и мирно. На длинных летних гастролях обалдеваешь друг от друга, а выехать вместе среди зимы даже приятно. Общая дорога утишает и объединяет. Наташа торжественно обещала всем, что завтра же обязательно купит лыжи. И будет ходить на них каждый день.

«Это же прекрасный тренаж! – говорила Наташа, будто с ней спорили. – Лучше всякой зарядки!»

«Только уж, пожалуйста, без пропусков, – посмеивался

Юрий. – Чтобы действительно каждый день».

«Конечно, – уверяла Наташа. – Утром часок пробежимся, до репетиции, и знаешь, как будет работаться!»

«Знаю», – смеялся Юрий.

И все тоже смеялись. Потому что весь театр знал, как трудно Наташа поднимается по утрам. Впрочем, все этим грешат, ложиться-то приходится за полночь.

«А почему бы нам не организовать свою лыжную базу? – сказал предместкома дядя Миша, его все так зовут: „дядя Миша“. – Через местком нажмем, снимем домик себе и будем выезжать на выходной».

Весь автобус нашел, что это прекрасная, перспективная идея. Заслуженный артист Витимский даже вспомнил к случаю, что в молодости он прилично прыгал с трамплина, и ему сразу же предложили вести в театре лыжную секцию.

«В порядке смычки поколений», – прибавила Наташа.

Но даже это замечание Витимский принял тогда без оскорбленности – хорошая была дорога.

Потом все немножко подустали и уже больше глазели в окна, неумоимо оттирая их варежкой. Глазели и обменивались обычными городскими восторгами: очень из этих восторгов видно, как одичали и оскудели мы без природы.

«Посмотрите, какая красота! Заколдованный лес!»

«А елка-то, елка! Горит, как хрусталь!»

«Какой воздух! Я бы всю жизнь в деревне жила – благодать какая! Даже не верится!»



И не хотелось, даже шутя, возражать, что в деревне им всем и месяца не выжить, – такие они все насквозь городские, пожизненно городские.

Юрий обнял Наташу за плечи и тоже расслабленно следил через стекло. Как пробегают мимо хрустальные елки, изумрудные сосны, сказочные березы, как низко плывет волшебное небо и струится дивный снег. И лениво, необязательно думалось, что других слов, своих и незатасканных, у него тоже нет для этих сосен, елок и неба. И он великолепно нем перед этой природой и никому не смог бы передать ее красок, звуков и запахов, даже если бы очень хотел. Даже собственному сыну. Он просто косноязычен и нем. Поэтому он всю жизнь повторяет со сцены чужие слова, даже если они ему не сильно нравятся. Заменить их хочется, но заменить их нечем...

Но мысли эти, в общем не новые, сейчас как-то не испортили настроения. Сейчас они проходили легко. Юрий безболезненно их проглатывал и опять ровно дышал в Наташин воротник. Как проглатываешь иногда рыбью кость и она ни-где не встает поперек горла. На этот раз не встает.

Наташа даже спросила его тогда:

«Ты что? Заснул? Или думаешь?»

И он ответил:

«Да нет, просто существую...»

Тогда дядя Миша сказал:

«Споем, что ли, помаленьку, чтобы правда не заснуть».

И они спели дружным автобусом свою любимую: «Забота наша такая, мы в десять всегда кончаем». Специально выездную песню. И еще что-то, уже из спектакля. Только Витимский не пел, кутая шарфом шею.

Потом снова был большой занос. Даже сломали лопату. Не успели отъехать, как спустило заднее колесо. Долго меняли камеру. Когда, наконец, тронулись, шофер сказал:

«Все. Последний сезон ишачу. На „Скорую“ перейду. Там хоть смену отбухал – и гуляй. И людям хоть облегчение. А тут возишь взад-назад. Как дрова».

«Да еще сырые», – подмигнул за его спиной дядя Миша. Но шофер уже распалился.

«И перед каждым обувь сымай, – сказал он, пуская автобус вразнос. – Народный из Ленинграда приехал: пожалте, на репетицию вози его из гостиницы, за три квартала. Гоняй машину! Обратнo, с театру, опять вози. Дома небось за папиросами дальше бегаеt. Заслуженный! Опять ему тарантас!»

«Искусство требует жертв, Василий Антоныч», – сказала Наташа.

«Все. Хватит с меня вашего искусства!» – с отвращением отрубил шофер.

И все почему-то разом скисли. Как будто темный бес внутри каждого только и ждал этого случайного всплеска. Пустого всплеска. Потому что шофер уже пережил в театре трех директоров и штук восемь главрежей. И даже дочь у него училась в культпросветшколе, на театральном. Хуттер

недавно выпускал ее в массовке, так шофер с супругой сидели в пятом ряду партера, и он все вытирал лицо огромным, как шерстяной плед, платком. Супруга и в антракте сидела в кресле так же прямо и твердо. А шофер, правда, отлучился в буфет, залпом выпил три бутылки пива, и во втором действии ему было полегче. Никогда он спектакля не смотрел, кроме этого, дочкиного. Потом подошел к Хуттеру и сказал:

«Вам когда чего надо свезть, дак я могу...»

«Поздно уже. Чего же сейчас везти?» – поразился Хуттер такому энтузиазму. Обычно машину можно было только через директора выбить, каждый выезд со скандалом. Шофер всегда пребывал в состоянии отчаянной, боевой обороны – так он понимал свою ответственность за резину, подшипники и карбюратор.

«Нет, – сказал шофер. – Ежели ВАМ, может, надо свезть...»

«А-а-а-а, – засмеялся Хуттер. – Это взятка натурой? А я не понял!...»

Очень он развеселился.

«Вам – дело, а вы – собака бела», – сказал, наконец, шофер и тоже заколыхался. Он не смеялся, а колыхался. Машину любил, как лошадь. И умел заговаривать ей зубы, если дурила. Была в нем основательная, из глуби, привязанность к дому. А домом его был театр. И никогда не уходят такие люди от своего дома.

«Постель тебя забудет, – ворчал шофер уже по инерции. –

Каждое лето трухаешь-трухаешь с вами, где попадет...»

«Сейчас опять в общий номер засунут и мужчин и женщин», – сказал заслуженный артист Витимский, кутаясь шарфом.

«С нашей Раисой Матвеевной все возможно...» – поддержала одевальщица Нонна, которая редко кого поддерживала, потому что считала себя в театре непонятой индивидуальностью.

Раиса Матвеевна была выездным администратором: обеспечивала распространение билетов и создавала условия на местах. Но ладить в гостиницах она не умела. Сто раз со всеми переругается до приезда актеров, и условия поэтому доставались обычно самые примитивные. Актеры не любили с ней ездить.

«Вместо того чтобы сосредоточиться перед спектаклем, – сказала Наташа, – опять придется расхлебывать».

«Не волнуйтесь, Наталья Владимировна, – саркастически улыбнулся Витимский, и рачьи глаза его заволокло пронзительной печалью, – в Сямозере сегодня все равно – банный день. Нечего и сосредоточиваться...»

«Нет, там как раз перед получкой», – фыркнул Петя Бризак.

«А правда, она звонила, сколько билетов продано? – спросил у всех дядя Миша. – Кто-нибудь слышал? Может, зря едем?»

Никто ничего не слышал, и все невесело задумались.

«Удивительно: всегда не вовремя!» – сказал Петя.

Юрий уж и забыть успел, когда это было ему удивительно. Привык. Просто есть такие поселки и даже городки, куда театр всегда приезжает не вовремя. И люди вокруг вроде такие милые, интересующиеся. А вот – не вовремя: «Вы бы вчера хоть приехали! А сегодня как раз у Сергуниных свадьба, кто ж к вам пойдет!» Никто и не идет. Пустой зал. От пьесы не зависит, от игры не зависит. Просто нет зрителя. «Вы бы хоть завтра приехали, завтра как раз получка, а сегодня у всех – карманы выверни, кто же пойдет?» А приедешь, предположим, завтра: «Да у нас же сегодня получка! Разве мужиков удержишь? Сейчас только за ними гляди, кто ж к вам пойдет?» Через трое суток после получки тоже плохо: «Шерсть как раз завезли в „промтовары“. А в конце месяца план так горит, что какой театр! В начале, наоборот, нервный спад, нет фронта работ, кто ж к вам?...»

В таких поселках и даже городках спектакль играется как-то торопливо, почти воровски. Актеры стихийно сокращают длинные монологи, адаптируют текст, даже путают привычные реплики. По времени любой спектакль подгоняется почти под кино. Но зрителю все равно трудно. Он грегочет в самых неожиданных местах. Схватывает лишь бытовщину, минуя даже не слишком глубокую философию. «Ага, во он – ейный любовник!», или: «Матку-то, матку-то обозвал, во сын! Ну, сын!»

Даже просто жить несколько дней в таком поселке утоми-

тельно. Хоть и в отдельном номере. Хоть какая райская красота кругом. Потому что в таких местах и к актерам внимание чисто бытовое, подглядывающее. Как в щелку. Все замечается и сразу ставится в вину. Взял рюмку в столовой – уже поползло: «Пьет». Собрались вместе после спектакля: «Гуляют! Милицию бы вызвать, чтоб знали!» Сказал, что борщ пересолен: «Капризничают, они такие, артисты!» Пошел в хорошем костюме: «Ишь, вырядился! Люди вкальывают, а эти белым днем...» Пошла в спортивных штанах: «Ни стыда, ни совести, постыдилась бы, вот они, артисты!» Со всех сторон ты обложен, как заяц. А хочется ведь иногда и рюмочку выпить и громко в номере засмеяться.

Будь Юрий на месте... Не совсем ясно даже – на каком. Словом, имей он власть и силу, он бы перетряхнул к черту руководство в таких поселках. Даже если они двести процентов плана дают. Когда вот так принимают театр, это уж первый признак, что крупно неблагополучно с руководством. Есть какая-то червоточина. И людям живется мелко и неинтересно, раз они так коммунально цепляются к мелочам и нелюбопытны в главном.

Есть же у них в области Шишкинский леспромхоз, куда каждый актер готов выехать днем и ночью, даже не в свою очередь. Уж кажется – дырка, дальше некуда, от железной дороги триста километров. Клуб в бывшей церкви. Акустика, правда, великолепная, шепотом можно говорить, но работать приходится на пяточке, где двое лбами столк-

нутся. Зато этот клуб всегда полон и у входа еще спрашивают «лишнего билетика». А когда работаешь, на тебя смотрят живые глаза, тебе улыбаются из зала дружелюбные рты, на тебя нацелены раструбом веселые уши. И после спектакля тебя останавливают на улице: «Когда теперь к нам? У-у-у! А раньше нельзя?» И директор леспромхоза, здоровяк в унтах полярника, говорит прощаясь: «Вы мне полплана дали!»

Этот директор в Шишкине и поставил дело. Сразу закупает все билеты, полный сбор. Из каких фондов? Юрий в этом профан. Потом будто бы плотно садится в кабинете, попирая унтами премиальный ковер, ковров он не любит. И начинает вызывать бригадиров: «Скрыпник! Есть, брат, на твоих орлов четыре билета. Да, на спектакль. Хватит – четыре, больше вы не наработали. Вон Семенову восемь, конечно, дам. Заслужил!» И бригадир Скрыпник, который, может, и вовсе ни одного брать не думал – за свои ведь, кровные! – сразу глубоко заглатывает крючок. «Как же так: Семенову, значит, восемь, а мы, значит, хуже? Это еще надо посмотреть!» И вокруг театральных билетов неожиданно распалются шишкинские страсти. И кому совсем не досталось, тот вдруг чувствует себя оплеванным. Непривычным таким, интеллигентским, методом. Оставили без театра, как девчонку без сладкого. Никому всерьез не расскажешь, даже не напьешься – засмеют. А противно. Глядя на красномордого здоровяка, никак не подумаешь, что он способен на тонкое маневрирование. Танк. Кажется, ему бы только по бездорожью ло-

МИТЬ...

«...Да, в Сямозере зал тяжелый...» – сказал дядя Миша.

«...Как на себе тащишь...» – вздохнула артистка Воробьева.

У Дарьи Степановны Воробьевой – замкнутое, сухое лицо с пронзительными чертами. Она даже улыбается скупой, чтоб не было морщин. Шея только выдает возраст, не спрячешь, не загримируешь, для актрисы самое страшное – шея. Дарья Степановна играет на сцене властных старух, женщин Нискавуори, умеющих за себя постоять. В антракте к ней лучше не подходи – так и осадит взглядом, испепелит, она до конца спектакля уже не выходит из роли. И потом еще долго спичку не может чиркнуть: руки дрожат.

А в жизни Дарья Степановна добра и сентиментальна. Плачет, когда перечитывает Жорж Санд. Каждое утро моет подоконник за голубями. Первой здоровается с начинающими актерами и всех без исключения называет «деточка». Иногда – даже Хуттера, когда рабочий азарт достигает предела: «Вы здесь, деточка, не правы. Я эту сцену иначе вижу». С каждой полочки отправляет посылки сестре. У Дарьи Степановны старшая сестра в доме инвалидов, а больше нет никого. Она бы сестру давно к себе забрала, но гастроли! но выезды! но ведь все вечера заняты! а женщину разве найдешь, чтобы ухаживала! чтобы как своя! не найти ни за какие деньги! Поэтому Дарья Степановна хоть отпуск проводит вместе с сестрой. И возвращается всегда заплаканной и



постаревшей. Потом берет себя в руки: массаж, обтирания, зарядка; для актрисы самое страшное – шея.

В праздники Дарья Степановна выпивает бокал шампанского и вдруг просит соседа по столу: «Ты меня, деточка, только, пожалуйста, не предавай! Я прямо не переживу, если ты меня предашь!» Посторонние шарахаются. А свои к этому, конечно, готовы и стараются быть рядом. Свои отвечают быстро: «Что вы, Дарья Степановна! Да ни за что на свете!» Тогда Дарья Степановна сразу светлеет и говорит: «Конечно, деточка. Не обращайтесь внимания. Идите танцевать».

Когда-то Дарья Степановна пострадала из-за пустяка, устный жанр, теперь по телевизору хлестче рассказывают. Говорят, там она читала на память Есенина, и уголовники ее берегли за это. Говорят, что в молодости она была сильной, веселой женщиной, а теперь бокал шампанского для нее – предел.

«Одно могу гарантировать, – сказал заслуженный артист Витимский, – если у них в клубе мороз, я работать отказываюсь...»

«Только если не ниже двенадцати, – твердо сказал дядя Миша. – Как на месткомке решили, так и будет».

Это давняя выездная беда – температура. Зрители жмутся друг к другу, в пальто, в шапках, ногами стучат: греются. А актеры расхаживают по сцене в безрукавках и декольте, дрожат за кулисами, собирают синие губы в улыбку, по тексту: «Жарища, как в Африке!», и холодный пар тяжело

вываливается из простуженных глоток. Потом не спасешься ни медом, ни двумя одеялами, которые тоже надо еще выма- ливать у гостиничного начальства. Потом врачи удивляются, почему у актеров радикулит – почти профессиональная – болезнь. И актрисы не вылезают из консультаций. Об этом на всех месткомах кричат. И директор только руками разводит: мол, клубы далеко, а он один. Недавно очередной раз твердо постановили: ниже двенадцати не работаем.

«Надо же их когда-нибудь проучить», – сказал дядя Миша.

Когда-то дядя Миша был нетерпим и горяч.

В пятьдесят четвертом на торжественном заседании он дал по физиономии режиссеру Трубицыну. Трубицын после спектакля зашел к выпускнице ГИТИСа Аллочке Петровой на чашечку черного кофе и попутно сказал ей: «В новой пьесе я тебя пока что не вижу. Как режиссер. Но если ты не возражаешь, чтоб я остался на этой прелестной тахте до утра, я обещаю пересмотреть свои позиции». Возможно, он изъяс- нился более поэтично, чем сохранила история. И даже пред- принял кое-какие действия, неувенчавшиеся.

Аллочка во втором часу ночи прибежала в театр и реве- ла на плече у сторожихи. Утром директор потребовал Тру- бицына. Но тут все сошло довольно гладко, поскольку мно- го говорилось об одаренности и вообще был взят отеческий тон, «как мужчина с мужчиной». Днем Трубицын лениво из- винулся перед Аллочкой по телефону. Она сказала: «Мне

так противно! Такая грязь!» Он сказал: «Грязь? Ну, очищайся». – И повесил трубку. Через час Аллочка Петрова принесла заявление об уходе. А вечером в фойе при свете праздничных люстр и большом скоплении городских мэтров дядя Миша дал Трубицыну по физиономии, сопроводив это категорическим пояснением: «В нашем театре, скотина, постельного режима никогда не было, нет и не будет, понял?!»

Режиссер Трубицын сдачи не дал, хотя физически мог. Поэтому драки, собственно, не было. Но скандал все равно вышел. И долго еще напоминали с трибун, что недопустимо слаба постановка воспитательной работы среди актеров и вообще в коллективе драмтеатра. Дяде Мише вlepили строгача за самоуправство, а Трубицыну все же пришлось уехать, как он ни крутился. Сейчас он главрежем на Сахалине, уже несколько лет. И когда эта фамилия мелькает в газете, старые актеры обязательно тычут дяде Мише: «Гляди, крестник-то живой! Растет! Гордись!» И дядя Миша отпихивается: «А чего? Способный мужик! Он и тогда был способный!» – «Способный!» – подначивают вокруг. – Ты ему хоть открыточку к празднику брось, порадууй крестника!»

Но актеров, которые сами это все помнят, в театре уже немного осталось. Поразъехались, народ кочевой, чемоданный. Уходит главный режиссер, и актеры снимаются с места. Как птицы. Сразу появляются новые. Вот и за Хуттером восемь новых пришло. И они уже старые за три сезона, свои. А дяде Мише некуда отсюда ехать. Если театр и имеет в горо-

де настоящие корни, так через дядю Мишу: полгорода родственников. У нее второй внук родился. Уже старшая дочь развелась. Уже младший в подъезде целуется и требует, чтоб его называли полным: «Владимир», а на «Вовика» обижают-ся, мозгляк. Куда и зачем тут ехать?

«Надо их проучить», – повторил дядя Миша.

Когда дядя Миша кого-то собирается проучить, у Юрия рот сам собой расплывается к ушам. О, конечно, слышал эту романтическую историю с пощечиной в фойе, но ведь когда это было! И было ли вообще? Дядя Миша, как понимает его Юрий, просто старый добряк. Директор, когда уезжает в командировки, оставляет ему своего фокстерьера: жена не справляется, больно умен и обидчив. Дяде Мише связками оставляют ключи от квартир на время отпуска. Цветы он там поливает, что ли? Бесшабашные одиночки занимают у дяди Миши перед получкой. Дядя Миша любит играть в преферанс, а это кажется Юрию прожиганием жизни. Хотя актер дядя Миша хороший. Без неожиданностей актер, но крепкий, на сцене с ним рядом спокойно.

«Кого „их“? – сказала Наташа. – Когда полный зал, уже ничего не поделаешь».

«Зритель не виноват», – вздохнула Дарья Степановна.

«Категорически откажусь, – повторил Витимский. – Я этим выездом вообще рискую. У меня горло».

Голос у него действительно как-то сел. И лицо нездоровое, с румянцем. А кому было ехать? Он, заслуженный ар-

тист Витимский, в спектакле работает без дублера. У него, слава богу, вообще нет дублеров, на него можно положиться, он театр еще никогда не подводил. И звание он заработал честно, хоть кое-кто и воздержался при голосовании.

«Чего вы торопитесь? – сказал Юрий. – Давайте сначала доедем. Будет день – будет пища».

В Сямозере перед гостиницей стоял огромный рудовоз «татра». Цвета взбесившегося пожара. Задние колеса у «татры» подвижные: можно их чуть внутрь подогнуть, можно скосить наружу. Поэтому «татра» кажется косолапой. И великолепно живой.

Возле громадного колеса лежал, спиной в снег, черный человек с железякой в руках. Он лениво ворочал железякой и лениво взывал в белое небо:

«Коля, куда ты девал моего троста?»

Небо валилось хлопьями. Коли нигде не было.

В прихожей гостиницы молоденькая дежурная рванулась навстречу, разметав счета по столу:

«Мы вас прямо заждались! Вашей тетеньке плохо. Мы уже фельдшера вызывали, а он сам в город уехавши».

Администратор Раиса Матвеевна боком лежала на широкой кровати, прижимая к себе шершавую грелку. За спиной у нее стояли цветные подушки, пять штук.

«С дому я принесла, – стесняясь, пояснила дежурная. – Для ихнего удобства. А белых наволок нет».

Раиса Матвеевна вяло пошевелила губами:

«Печень...»

«Боюсь, что это серьезно», – сказал Витимский, тревожно ошупывая языком собственное горло.

«В клубе я ничего не сделала, – виновато объяснила Раиса Матвеевна. – Вдруг прихватило».

«Надо вас на городскую работу переводить, – сказал дядя Миша. – Поставлю вопрос перед дирекцией».

«А кто будет актеров возить? – вздохнула Раиса Матвеевна, ободранная грелка тоже вздохнула у нее на боку. – Уже сколько ставили. Я отлежусь за ночь. Только уж сами устраивайтесь...»

«Мы всех поселим, лежите себе, – сказала дежурная. – У нас номера есть, простыни новые как раз получили. Только воды нет, труба ночью лопнувши, дак ребята чинят».

«Схожу пока в клуб», – сказал Юрий.

«И я с тобой», – сказала Наташа.

Но до клуба они не дошли, а свернули на соседней улице к магазину «Уцененные товары». В «Уцененке» они всегда покупали драгоценности для спектаклей: театральные реквизит беден, и за каждую серьгу надо бороться. Дешевле свои иметь. Шоу, конечно, этого не предвидел, но его «Миллионерша» выходила на областную сцену в уцененном браслете – рубль двадцать три копейки, с уцененным кулоном – рубль одна копейка, благородно сверкая уцененной брошью, стекло натуральное – семьдесят девять копеек.

«А то потом закроют, – сказала Наташа. – Подождешь?»

«Побегу. Уже поздно».

До спектакля осталось меньше двух часов. Надо торопиться.

Двери сямозерского клуба были распахнуты настежь. Крепкая старуха – уборщица в теплом платке и галошах на шерстяной носок, – резво взмахивая тряпкой, домывала пол.

«В клуб войти можно?» – спросил Юрий.

«Грязной водой окачу, дак войдешь».

«А завклубом где?»

«Куда он денется? Дома».

Дом завклубом оказался в другом конце Сямозера. Всю дорогу Юрий искал хоть какую-нибудь афишу, вещавшую о приезде театра, но ни одной ему так и не попало. Только кино себя рекламировало, снег размывал на столбах фиолетовые чернила.

К крыльцу завклубом вела крепкая расчищенная тропа. Кринки торчали на заборе вверх дном. Скрипела мороженая простыня на веревке. Юрий почистил ботинки мохнатым венником и постучал.

«Дверь толканите!» – крикнули изнутри.

«А я смотрю в окошко: кто-та идет?» – сказала женщина навстречу Юрию. Над широким лицом ее плоско вился перманент. Глаза были спокойны и дружелюбны. Женщина ела картошку, целиком насаживая ее на вилку. И заедала солеными грибами, вольно черпая их из миски. Вместе с ней жевали и черпали двое мальчишек. Широкоскулых. В плоском

перманенте. Значит, просто у них в роду так волосы выются, некрасиво выются.

«Садитесь. Закусывайте», – пригласила женщина.

Словно Юрий всегда в этот час закусывал с ней солеными рыжиками. Его отказ заметно удивил всех троих.

«Тогда чего же? – спросила женщина. – Может, чаю?»

«Чаю выпью, – согласился Юрий. – А где хозяин?»

«В сарае возится», – сказала женщина. И ничего больше не добавила. Ни кто, ни что, ни зачем.

Юрий вынужден был сказать сам:

«Мы тут из города приехали...»

«Со спортивного общества?» – чуть оживилась она.

«Нет, из театра...»

«А-а-а, – разочаровалась женщина, и мальчишки заметно разочаровались. – Я думала, с общества, об соревновании.

Пашка! – приказала она старшему. – Покличь отца!»

Убежали оба.

Юрий глотал жгучий чай, нутро у него теплело и размяччалось. Он уже пожалел, что так сразу отказался от картошки. Уже хотелось поговорить с этой женщиной. Как они тут живут, давно ли, ездят ли в город и кто к ним сюда ездит.

Сказал первое, что подвернулось на язык:

«Грибы сами солили?»

«А то кто же? – удивилась женщина. – Грибов тот год страсть было. С осени ели в охотку, а теперь чуть подаются. Одна я и ем. Сыны нос воротят, надоело. А сам-то какой



едун? У него от грибов ижжога. Если б, конечно, свежие! А соленье ему ижжогу дает...»

«Тут и ягод, наверно, полно», – перебил Юрий, чтобы как-то свернуть с пищеварительной темы.

«Ягод, конечно, хватает, – согласилась женщина. – Брусника, черника, малина. Малину он может. А бруснику уж так напарю, все одно ему пучит. Две ложки съест, цельную ночь ему пучит...»

«Люблю чернику», – быстро сказал Юрий.

«Кто же ее не любит! – вздохнула женщина. – Черникой, бабы болтают, в городе дизентерию лечат, у него с черники расстройство. С двора не вылезит с черники...»

Юрий ерзал, пряча глаза в стакан.

Она была еще молода. Широкое лицо ее покраснело. Полные локти надолго улеглись на столе. Тема ее волновала. Это была ее тема. В ней выражала она близость свою и любовь. И хорошее отношение к собеседнику, с которым приятно вот так сидеть, прихлебывать из веселой чашки и беседовать.

«Сколько в деревне живем, всегда у него такой организм». Затопали по крыльцу. Щелкнула дверь.

Юрий ожидал увидеть впалого упыря. Хлипкое тело, которое только подвязки держат. Но навстречу ему, лишь самую малость прихрамывая, шагнул полновесный брюнет. Рука его была широка и мосласта.

«Заведующий клубом», – официально назвался брюнет.

«У нас администратор заболел, так и я бы хотел узнать...»

«Понятно», – безрадостно кивнул завклубом, дослушав.

«Сколько билетов продано?»

«Я девятнадцать билетов распространил среди населения, – не спеша сообщил завклубом. – Лично занимался этим вопросом».

«А всего сколько?»

«А всего, кажется, двадцать два, – чуть затруднился завклубом. – С кассы, кажется, продали три. Начальник рудника взял, – он загнул на пальцах. – С супругой. Потом еще шофер, Корнев. Холостой. Да, двадцать два...»

«Значит, пустой зал», – ватным голосом сказал Юрий.

«Может, перед началом кто купит, – без надежды сказал завклубом. – С распространением билетов пока что имеем трудности. Население неохотно идет. Вот когда в прошлом году оперетта к нам приезжала, тогда шли, – заметно оживился завклубом. – Как-то веселого хочется после работы. Я, правда, тогда в клубе еще не работал, в милиции работал по своей специальности, но помню, что шли. Даже билеты ограничивали, через организации...»

«Понятно», – сказал теперь Юрий.

«Вы б там сказали, в городе, – поддержала женщина, красиво прибирая со стола, – чтоб оперетту прислали. Тоже ж тут живут люди, и людям охота».

«Скажу», – пообещал Юрий, влезая в пальто.

«На месте все выясним», – сказал завклубом.

Он переобул валенки, белые надел, выходные. И они снова пошли через все Сямозеро. Уже свет горел в домах и на улице. Еще похолодало. Над фонарями, пронзительно вверх, стояли тугие, морозные столбы света. Казалось, что их можно резать ножом – такие тугие. На вторых этажах щелкали форточки: сетки с продуктами, которые весь день болтались за окном, исчезали в глубине комнат. Кончался рабочий день, хозяйки готовили ужин.

«Так-то я все организовал: уборку, стулья. Проследил лично. Дрова завезли, сухие...»

«Градусник есть?» – спросил Юрий.

«Что?» – не понял завклубом.

«Градусник. Ну, термометр...»

«Найдем, – заверил завклубом. – Да чего мерить? Нормальная температура. Жилая. Топим. Сильно не рекомендуют топить: возможен угар, печки старые. Но подходящая температура».

В фойе клуба сидела местная кассирша, разложив на скамье ленты билетов. Ленты были длинные и разного цвета – от ярко-синего до блекло-голубого, почти серого. Кассирша раскладывала их как карточки лото, добиваясь, по-видимому, ей одной ясного художественного эффекта.

Она обрадовалась живым людям.

«Десять билетов продала, – похвалилась кассирша. – В управлении. Да еще племяшке. Чего девке дома сидеть?»

«Значит, тридцать два?» – уточнил Юрий.

«Тридцать два всего», – подтвердила кассирша.

«Уже неплохо?» – вопросительно сказал завклубом.

Юрий вошел в зал. Зал он помнил, летом здесь были. Сцена ничего, работать можно. Звук, правда, застревает в середине зала и до последних рядов добирается с трудом. Но об этом можно не волноваться: тридцать два – не двести. Круглые печи топились вовсю, даже мимо проходить душно. Зато уже в трех шагах было свежо. Руки мерзнут. Хоть и после улицы. Окна изнутри приметно заросли наледью.

«Интересный узор», – кивнул на окна Юрий.

«Разрисовало! – охотно засмеялся завклубом, наконец разглядев в Юрии понимающего человека и уже не скрываюсь. – Разве такую махину этой пузой натопишь, – он ткнул круглую печку валенком и мгновенно отдернул ногу. – Только для вас стараемся. Перевод дров!»

Юрий поднялся на сцену. Постоял. Прошелся.

Градусник долго не могли отыскать. Или не хотели. Наконец завклубом принес его и молча передал Юрию.

Градусник показал на сцене плюс шесть.

«В зале побольше, – сказал завклубом. – Еще нагреется.

«Градуса два-три набежит, – подтвердила кассирша. – Больше – навряд, через окна выносит, а два-три, бог даст, набежит».

«Остальное – надышат, – бодро сказал завклубом. – Все равно же не раздеваться, у нас и вешалки нет. А население привычное. Пересидят. Хлопать будут сильнее – нагреются».

«А мы как же?» – поинтересовался Юрий.

Завклубом на секунду смутился, но тут же нашел выход:

«Если потом горячего внутрь, ничего. Тут главное – сразу пропустить, не дать остыть организму».

«Не дадим остыть», – сказал Юрий.

«С собой есть?» – понимающе прищурился завклубом.

«Деньги за билеты нужно вернуть. Вы уж возьмите, пожалуйста, на себя», – попросил Юрий кассиршу.

«Как – вернуть? – ахнула та. – Зачем же?»

«Потому что спектакля у вас сегодня не будет...»

«Это кто же принял такое решение?» – сказал завклубом.

«Я принял», – сказал Юрий.

«Вас никто не уполномочивал, – сказал третий завклубом. – Мы еще поглядим, что скажут другие товарищи артисты».

До гостиницы дошли молча. Перед ней по-прежнему стояла «татра», пламенея под снегом.

Черный человек теперь рылся в моторе. Будто на ощупь искал в набитом чемодане зубную щетку. Он покосился на толстый скрип валенок и спросил без раздражения:

«Коля, куда ты девал троста?» – Интонация в точности повторялась. Будто Юрий и не ходил полтора часа. Будто черный человек забыл все, кроме вечной проблемы троста.

Наташа собиралась к спектаклю. Сказала, как главное:

«Тебе там воды оставили. Давай полью...»

Разглядела брюнета за Юрием, в коридоре.

«Что? Поклонник большого искусства?»

Когда все собрались в номере, Юрий доложил:

«Тридцать два билета и на сцене – шесть».

«Я категорически! Безобразие! У меня горло!»

«Ага, – сказал Юрий, припечатывая взглядом завклубом. – Все уже сделано. Деньги кассирша вернет. Только ночевать придется. Второй конец не осилить. И Раиса Матвеевна до утра отлежится...»

Он еще говорил, но уже кожей чувствовал, как во сне. Будто ведешь решающий монолог в полном зале, и вдруг люди начинают беззвучно вставать и медленно растекаться в тысячи дверей, сквозь стены, просто истаивать в воздухе. Уже кричишь, а они все равно растворяются. Исчезают. И уже хватаешь ртом воздух. И задыхаешься в одиночестве.

«Утром пораньше выедем и к обеду будем дома», – закончил Юрий уже в пустоте. Хотя никто никуда не вышел. И даже не переменял позы.

Тишина длилась долго.

«Может, в театр позвонить?» – сказала, наконец, Наташа.

«Теплее от этого не станет», – усмехнулся Юрий.

«Некогда уже звонить», – сказал дядя Миша.

«Мы вообще-то все подготовили: уборка, стулья, билеты распространили среди населения, – опять перечислил завклубом. – Печки надо было, конечно, пораньше затопить. Тут я лично недоглядел, признаю. Но еще нагреется! К нам театр редко ездит, недоглядел. А люди, конечно, соберут-

ся...»

Опять все молчали. Но было в этом молчании нечто обнадеживающее. И завклубом закончил решительно:

«В другой раз мы, конечно, предусмотрим. Учтем. А сегодня, по-моему, товарищи артисты, мы все проявим сознательность».

«Вы уже проявили», – прервал Юрий.

«Юрий Павлович, безусловно, прав, – сказал дядя Миша. – Работать в таких условиях прямо-таки нельзя. Надо же с этим когда-то покончить. Я так считаю: сегодня, видно, уже придется все-таки отыграть, раз приехали, а в городе жестко поставим вопрос перед дирекцией. И перед управлением культуры, если нужно».

«Придется уж», – вздохнула Дарья Степановна.

«Да почему же придется?» – сказал Юрий по возможности спокойно.

«Потому, деточка, – объяснила она, – что потом не расхлебаешь. Вы молодой, а я знаю».

«Я совершеннолетний, мне тридцать четыре. Я тоже знаю».

«Вот я и говорю: молодой».

«Сыграем, чего там...» – сказал свое слово Петя Бризак. Ему тут все в новинку, и спор этот вокруг спектакля ему просто претит: приехал, отработали – и обратно, – вот как он понимает жизнь.

«Уж я знаю. Скажут, срываем план. Комиссию создадут.

Ходи объясняй. Им в городе не дуется».

«У меня весь второй акт в сарафанчике, – поежилась Наташа. – Но вообще-то можно, конечно. Перетерплю».

«Кофточку сверху накинь», – посоветовал дядя Миша.

«Придется», – сказала Наташа.

«Только предупреждаю: в последний раз, – сказал вдруг Витимский. В нем-то уж Юрий был уверен, как в себе. – Пора все-таки объяснить кой-кому, что актеры тоже люди».

«Объясним», – веско сказал дядя Миша.

«Я еще никогда не подводил, если театру нужно. Но прямо предупреждаю: чтобы в последний раз, и категорически!»

«А горло?» – напомнил Юрий.

«Настоящие актеры даже умирают посреди спектакля», – улыбнулся заслуженный артист. Голос был больной, а улыбка пышно-торжественной.

Глупо мешать человеку чувствовать себя героем. Тем более если идет игра на публику. Витимский явно работал сейчас на заведующего клубом, бессознательно грезя о резонансе. Хотя бы районного масштаба.

«Хватит, опоздаем», – сказал Петя Бризак.

«Мне еще с прической возня, – вздохнула Дарья Степановна. – Раньше парикмахеры были в театре – боги! А теперь чего сам наделаешь с головой, то и ладно...»

«Решено, – подытожил дядя Миша. – Сегодня отыграем, а уж потом пусть дирекция думает».

«Вы как хотите, – сказал Юрий. – А я сегодня работать



не буду».

«Это несерьезно, Юрий Павлыч», – улыбнулся дядя Миша.

«Не надо, Мазини, ладно!» – сказала Наташа.

«Наоборот, надо. По-моему, пора».

«Выходит, что мы все...» – обиделся Витимский.

Прежде всего почему-то они обиделись. Как будто Юрий для себя что-то выгадал, ущемив всех остальных.

«Ничего не выходит», – сказал он.

Тягостный получился вечер. Разговаривать сразу не о чем. Вроде не о чем, каждый сам в себе переваривает и сторонится другого. Даже сидеть в номере всем вместе трудно. А выйдешь на люди – того хуже. Идешь по коридору и чувствуешь каждый палец в ботинке. И вроде пиджак на тебе не так. И галстук косо. Как на сцене в момент блистательного провала. Даже молоденькая дежурная глядит на тебя осуждающе. А командировочные оборачиваются вслед: «Вот он! Этот! Испугался, видите ли, низких температур! Лишил любознательных сям-озерцев единственной культурной радости!» Может, никто и не смотрит. А кажется. Действительно, ведь лишил. Но когда-нибудь надо было решиться.

Свои же и надулись. Себя же и наказал. Сто сорок километров – сюда, сто сорок – обратно. Прогулочка. Как раз чтоб измерить температуру в клубе. В другой раз они, конечно, натопят. Но сейчас не легче от этого. Даже если прав.

Словом, когда на следующий день возвращались в город,

песен в автобусе не было. Юрий даже сначала уселся один на задней скамье, демонстративно. Потом уж Наташа к нему пересела.

«Теперь жди крупного разговора», – вздохнула Наташа.

Юрий остановился и стряхнул снег с лица. Налепило. Пока разбирался с этой историей, ноги бесконтрольно несли сами. От швейной фабрики они его далеко унесли. Но ничем новым не удивили, скучные ночи. Принесли, конечно, в знакомый двор. Ленин звонок засел в памяти смутной тревогой.

Все вечно и неизбежно. В высокой коляске спит незамерзаемый грудник. Откуда-то сверху тонко сочится обязательное: «Если друг оказался вдруг». Пять серых этажей, сломанных под углом, скучно обжимают двор. Ничто здесь не изменилось со вчерашнего вечера. Только каток перед первым подъездом стал еще шире и, возможно, прибавится еще один перелом. К двум, которые уже были. Тогда каток, безусловно, засыпят песком. Девчонка в искусственной шубке цвета горячих потрохов, тащит ведро на помойку. Помойка тоже на месте. И ржавый частный гараж, запертый до весны тремя замками. Девчонка высыпала из ведра, стукнула по дну и пробежала обратно. Юрий проводил ее взглядом. Да, цвет оглушительный. Рядом с такой шубкой он бы нипочем не пошел, у Борьки просто нет вкуса. Вернее, он, как и Лена, сразу цепляется за существо вещи, форма для них не имеет значения.

Эту девчонку Юрий несколько раз видел с Борькой. Они вместе возвращались из школы, Борька, пыхтя, тащил два

портфеля и что-то умное говорил, заглядывая девчонке в лицо. Для этого он все неловко забежал вперед и даже вставал на цыпочки: девчонка почти на голову выше Борьки. Борька что-то совсем не растет, тоже в Лену. Девчонка смешно нагибалась к Борьке и скалила неровные зубы.

Насколько мог уловить Юрий, Борька дружил больше всего с этой девчонкой и еще с одним парнем из соседнего дома. Парня этого Юрий даже как-то застал у Борьки. У него было маленькое выпуклое лицо, слишком твердое для пятиклассника. Определившееся какое-то, – отметил тогда Юрий. И сразу захотелось разговорить этого парня. Но тот отвечал неохотно и удрал уже через несколько минут, оставив в душе Юрия смутную тревогу.

«Кто это?» – спросил он по возможности небрежно.

«Вовчик Сорокин», – сказал Борька с явным задиром.

«Что? Хороший малый?»

«Вовчик?!» – переспросил Борька таким тоном, что Юрий сразу понял, как безнадежно далеко ему до этого Вовчика.

Они долго и разобщенно молчали. От такого молчания рядом с Борькой Юрий уставал больше, чем от неожиданно-го прогона целого спектакля перед московской комиссией. Он только старался, чтобы Борька не заметил, как тяжело ему так молчать.

Борька тогда все-таки не выдержал и прямо спросил:

«Он тебе не понравился?»

«Почему? – уклонился Юрий. – Я его просто не знаю».

И тут же пожалел, что не покривил душой. Уже через пять минут он понял, что своим ответом резко углубил неприметную трещину между собой и сыном. Впрочем, тогда он еще делал вид, во всяком случае перед Леной, что никакой трещины нет.

А ведь еще прошлой весной Борька запросто забегал к Юрию в театр и даже обижался: «Ты почему вчера на классное собрание не пришел?» – «У меня же днем репетиция, ты же знаешь. Мама ходила?» – «Ага, – Борька небрежно кивал на „мама“. – Я же хотел, чтобы ты пришел». – «Не все ли равно?» – говорил Юрий. Он был тогда спокоен за себя с Борькой и даже лениво гордился сам перед собой, как ладно все у него сложилось: сына он не потерял, они в одном городе, просто квартиры разные, и никаких трагедий. Страшно даже подумать, что Хуттер мог получить другой театр, и тогда Юрий сюда не приехал бы. «Совсем не все равно!» – обижался Борька. А Юрий делал тогда вид, что не понимает, и очень скрывал, как ему приятно.

Толстокожий дурак. Вполне ведь мог успеть в школу, если бы захотел. Когда хотел, успевал. И как еще выламывался перед Борькиной педагогшей, противно вспомнить. Борькина педагогша смотрела на Юрия с обожанием. Ничего не спрашивая, он знал точно, ночами она клеит актеров в альбом. По глазам видно. И теперь она жаждала вставить в альбом Юрия, родителя своего ученика, – это так романтично. А он снисходительно подыгрывал ей.

Последним безоблачным днем было для них с Борькой второе августа. Как раз перед отпуском. Театр тогда расщедрился – вывез всех в лес на своем автобусе.

По скользкому бревну Юрий и Борька перебрались через дремучий овраг, в глубине которого вяло буркал ручей, и даже голосов стало не слышно, как отсекло оврагом. Одни они были. Вокруг первобытно топорщились папоротники. Пахло мокрой осиной и дикими слизняками, возросшими на толстых грибах. Сумрачно было, и ветки дерзко били в лицо, Юрий все задерживал ветки руками, чтобы Борька успел пролезть. Ловким Борька никогда не был и не умел уклоняться: разные острые предметы всегда лупили его, и маленький и побольше он ходил в синяках.

Лена пыталась бороться с его неловкостью. Умолила кого-то, чтобы Борьку взяли в спортшколу, на художественную гимнастику. Борька страшно увлекся гимнастикой, шикарным словом «тренировка», новыми друзьями, которые обезьянами висели на шведской стенке и делали шпагат так легко, будто это раз плюнуть. Борька даже ходить начал тогда особой, спортивной, как ему казалось, походкой: подпрыгивая на ходу. Как кенгуренок. Он и был тогда маленький, смешной кенгуренок, переваливший в третий класс. А Юрий только-только приехал в город, и между ними стремительно нарастала тогда мужская дружба.

Борька месяца три занимался в спортшколе. А потом, как то уже в ноябре, вдруг пришел в театр, когда была репети-

ция. Юрий сразу выскочил к нему в коридор: «Ты с тренировки?» Борька затряс головой и вдруг ткнулся в рукав Юрию. Оказалось, что он уже две недели на гимнастику не ходил, просто болтался по городу в эти часы. Потому что тренер, гипсовая девушка в облегающих брюках, сказал кому-то: «Мне их на разряд надо тянуть, а что прикажете делать с этим заморышем?» – и ткнула в Борьку пальцем.

Целые две недели Борька терпел, матери сказать боялся. А потом пришел прямо в театр. Юрий тогда только об этом и думал: что Борька к нему пришел, все-таки – к нему. И в нем прямо пело, с великим трудом он изобразил сочувствие и родительское огорчение. Он, конечно, сразу отпросился у Хуттера, и они пошли с Борькой домой – объясняться с Леной.

К пятому классу Борька, конечно, малость окреп и вырос. Но не настолько, чтобы продирааться сквозь папоротники. Ему все-таки было трудно, и Юрий держал над ним ветки. И про себя ругал Лену – за бабское воспитание. Будь парень с ним, он рос бы самостоятельным мужиком, это уж точно. В пятом, помнил Юрий, он уже удирал на рыбалку на полную ночь и лихо сплевывал через выбитый зуб, когда мимо проходили девчонки. И курить пробовал, но не понравилось, хоть пришлось сделать вид. А Борька вот даже вздрогнул, когда осина треснула у него за спиной.

Но все-таки было тогда отлично в лесу, второго августа. Грибов они долго не находили. Потом откуда-то сверху

тонко пробился солнечный луч. Неуверенно пошарил в кустах, нырнул глубже, раздвинул папоротники, и оттуда вдруг оранжево блеснула на Юрия тугая шляпа. Юрий шагнул мимо, чтобы Борька первым нашел.

«Подосинник!» – Борька как-то даже всхрипнул, а не крикнул.

Они быстро набрали полную корзину. Редко так везло на грибы, как в тот раз.

Потом навстречу им из кустов – как выпрыгнула – светлая березовая поляна. Юрий бросил куртку в траву и скомандовал: «Отдых!» Борька, визжа, катался по ромашкам. Устал. Близко привалился к Юрию, горячий и уже сонный. Юрий лежал, боясь шевельнуться. Совсем рядом лениво звенело прозрачное небо, и одинокий комар безвредно плыл в нем, как самолет. Или самолет плыл, как комар. Совсем рядом была Борькина щека. И ухо. Уши у Борьки были разные: одно тесно прижималось к голове, как у гончей, а второе – чуть отставлено в сторону, самостоятельное такое правое ухо. Борька так и родился – разноухим. Лену это смущало, и она все старалась надевать Борьке шапку потуже, чтобы второе ухо тоже приросло крепче. Но оно так и осталось чуть на отлете. Как и любое другое мальчишечье ухо, Борькино так и цепляло на себя всякую пыль. И тогда, в середине дня, оно уже потемнело и казалось не мытым давно, может быть, целую неделю. Юрий тихонько тронул Борькино ухо губами, и Борька сразу открыл глаза. И сказал:



«А я и не спал вовсе. Я вовсе думал».

«Конечно, ты думал, – сказал Юрий, чувствуя себя неожиданно глупым и счастливым оттого, что рядом, совсем близко, торчало маленькое, беспомощное и довольно грязное ухо, которому он был нужен. – А о чем же ты думал?»

«Я думал про муравьев», – важно сказал Борька.

«А чего же ты про них думал?»

«Какие они чистюли, – серьезно объяснил Борька. – У них уборная самая чистая в муравейнике. В самом верху, где солнце. Один муравей в уборной сидит, а пять сразу за ним убирают...»

Юрий засмеялся таким подробностям и сказал:

«Сами тебе рассказали?»

«Вовчик Сорокин рассказывал, он знает», – сказал Борька. Вот еще когда впервые появился Вовчик, но Юрий не придавал значения.

Борька задумчиво шевельнул ресницами и спросил:

«А почему у них рабовладельческий строй?»

Длинное слово «рабовладельческий» он произнес с удовольствием коллекционера, заполучившего новую диковину.

«У кого?» – не понял Юрий.

«У муравьев же», – почти рассердился Борька.

«А-а-а, – засмеялся Юрий. – Нет, почему же? У них и республика есть, насколько мне известно...»

«Все шутишь, а я серьезно», – сказал Борька, совсем как Лена. И сразу стал подниматься.

Нужно было забрать его с собой в отпуск, но Юрий уехал с Наташей на Волгу, к ее родителям, Наташа давно его тащила.

Потом были гастроли.

Когда через три месяца Юрий вернулся в город, он сразу заметил, что в Борьке что-то переменялось. Борька держался с ним будто настороже. Но внешне все пока оставалось, как было. Юрий приходил к ним домой, когда хотел, старался только, чтоб Лена была на работе. Приходил часто, иногда подписывал Борьке дневник, объяснял пустячные задачки, которые Борьке давались туго, играл с ним в шашки, кормил вместе с Борькой глупую красную рыбу, которая вяло резвилась в аквариуме на окне; Борька звал рыбу «Маша» и уверял, что она понимает имя.

Только молчать с Борькой стало почему-то труднее. И Юрий не раз с удивлением ловил себя на суетном многословии.

А однажды он пришел к ним и застал дома одну Лену. Лена быстро сняла фартук, поправила волосы, переставила стул, и Юрий, наконец, понял, что она волнуется.

«Случилось что-нибудь?» – спросил он.

«Мне очень неприятно тебе говорить, – сказала Лена, беспомощно и прямо глядя ему в глаза. Так она когда-то сообщила ему, что уезжает в этот город, к подруге, и Борьку, конечно, забирает с собой. – Ты только не подумай...»

«Давай только сразу», – сказал Юрий, уже боясь неизвестно чего.

«Понимаешь, – неловко заторопилась Лена, все так же беспомощно и прямо глядя ему в глаза. – Боря говорит, что он за последнее время отстал от класса, ему надо много заниматься и чтобы ты, ну... – она мучительно затруднилась и закончила сразу, будто сломалась: – приходил к нам пореже...»

«С каких это пор я мешаю ему заниматься?» – растерялся Юрий.

«Я пыталась с ним поговорить откровенно, но он не хочет. Только очень просил, чтобы пореже. Даже заплакал...»

Нет, Лена тут ни при чем, он не может ее упрекнуть, с сыном Лена всегда держала сторону Юрия, он даже иногда удивлялся, как у нее хватает характера.

«Но ты же не думаешь, что я настраиваю его, – сказала Лена потерянно. – Ты же не можешь думать!»

«Не могу, – сказал Юрий. – А что же мне думать?»

«Не знаю. Я сама ничего не знаю. Он молчит – и все. А начну очень приставать – сопит, сопит и заплачет».

«Ясно», – сказал Юрий, хотя ему ничего не было ясно.

«Я думаю, это уже переходный возраст, – сказала Лена. – Ты не волнуйся, это пройдет, наверное. Нужно только пока...»

«Ладно, – сказал Юрий. – Я буду приходиться раз в неделю».

«Я же не виновата. И он не виноват. Это мы с тобой виноваты. Почему обязательно – раз в неделю? Можно чаще».

«Нет, – сказал Юрий. – Давай попробуем так. Один раз.

По понедельникам, когда у нас выходной?»

«Хорошо, – кивнула она. – По понедельникам...»

С тех пор вторник для Юрия стал самым тяжелым днем. Во вторник, даже на репетиции, он не мог освободиться от Борьки. Он чувствовал его руку в своей – легкую, сопротивляющуюся ему руку, ногти с заусеницами. Видел его оттопыренное своевольное ухо. Иногда Юрию хотелось рвануть это ухо, чтобы Борька взвыл и взглянул ему близко в глаза, беспомощно и прямо, как мать. Но Борька прятал глаза, когда говорил с ним. И всегда торопился куда-то. В кружок. На собрание. В магазин – мама велела. Ужасно ему было некогда – говорить с отцом.

Во вторник даже на репетиции Юрий только тем и занимался, что процеживал и взвешивал каждое свое слово, сказанное вчера. И каждое Борькино слово. Но все равно получалось, что улучшения нет. И так продолжалось всю зиму.

Всю зиму он ходил к Борьке на свидания по понедельникам. День открытых дверей для широкой публики. И ни разу за эти месяцы он не поймал на лице сына проблеска радости, когда максимально весело и легко входил к нему в комнату. Только старушки-соседки бурно его приветствовали и охотно выкладывали все новости про склероз и внуков.

Нельзя сказать, чтобы Юрий стал от всего этого хуже работать. Или тише смеяться в компании. Или меньше остерить. Нет, в театре никто ничего не заметил, конечно. Даже Наташа не знала. И только спрашивала иногда, почему

Борьки совсем не видно у служебного входа, часто же вертелся. И Юрий объяснял ей, смеясь: «Растет мужичок! Стесняется проявлять чувства на людях». Никто ничего не замечал, но сам Юрий уже несколько раз ловил себя на какой-то непонятной оскаленности на сцене. Будто он ловчился зубами вытащить ржавый гвоздь из забора.

И даже Хуттер недавно вскользь бросил ему: «Злой ты в работе стал, Юрий Павлыч. Мужаешь, что ли?» – «Мужаю», – небрежно кивнул Юрий и несколько дней избегал оставаться наедине с Хут-тером, больно уж они друг к другу притерлись, каждая ворсинка другому видна.

Сегодня было воскресенье, значит, завтра у Борьки приемный день. Расписания Юрий не нарушал, что бы ни было, но во двор к ним заглядывал почти каждый вечер, привычно делая небольшой крюк после театра.

Этот двор Юрий почти любил. Этот двор его успокаивал. Даже сегодня. Своей обычностью: сараи, помойка, частный гараж, стационарный каток перед первым подъездом. Косо летит вялый снег. Можно просто задрать голову и посмотреть, что у Борьки в окне. Лены сейчас дома нет, в воскресенье у них на телестудии страдная пора.

Юрий задрал голову и посмотрел. Борькино окно светилось. Обычным светом. Конечно, ничего страшного. Что может случиться. Только внутри все равно сосет. Зайти бы сейчас и узнать. Но сегодня не впускной день.

Просто еще постоять, глядя на Борькино окно, как немно-

го надо. Там за убойно-коричневой шторой – Юрий не смог бы жить за такой коричневой, нет у Лены вкуса к вещам, просто беда, – там, за шторой, лениво плыла сейчас в глупом круглом аквариуме глупая красная рыба Маша. И Борька сажал на скатерть очередное пятно, у Борьки даже шариковые ручки текут, это надо уметь. Или он сейчас радостно слушал ту самую девочку, которая уже отнесла ведро в кухню и вымыла руки земляничным мылом. Без своей жуткой шубки цвета потрохов она, собственно, ничего, складная девчонка. Юрий просто никак не мог научиться смотреть на Борькиных друзей, как на детей. К Борькиным друзьям Юрий придирался, как к ровесникам. К этой девочке, например. Пройдет еще несколько лет, и ей будет мешать, что Борька почти на голову ниже и нужно наклоняться, чтобы скалить зубы ему в ответ. Одна надежда, что Борька к этому времени все-таки вытянется...

Близко хлопнула дверь. Юрий подобрался, запахнул пальто, принял занятой вид. Поднял голову, будто его осенило поднять, и посмотрел на знакомое окно с деловым интересом: дома ли друзья, которые заждались? Да, дома! Комедия из десяти движений с внутренним монологом героя под занавес.

Прошла просто парочка, которой ни до кого. Свернули за угол, и сразу снег перестал скрипеть. Целуются. Или она поправляет капрон, вечно у них чулки барахлят, а он с удовольствием рядом ждет, ему приятно ждать и смотреть, как

она поправляет. Зато уж потом он ее все-таки поцелует. Вот сейчас.

Юрий еще подождал, чтобы не наткнуться на парочку за углом. Потом тоже пошел. В воротах еще раз оглянулся. Пять серых этажей, сломанных под углом, давали ему пинка. Окно спокойно светилось. Даже форточку починили. Позавчера еще было разбито стекло. И вчера. Юрий собирался завтра заняться. Нет, кто-то уже вставил.

Наконец-то вышел на улицу. Теперь куда? Пройдя полтора квартала без определенной цели, Юрий уперся прямо в почтамт. И свернул туда. Хотя одно доброе дело сегодня сделать: матери телеграмму, чуть не забыл, пора.

Письма Юрий писать не любил. И не умел. Начнешь без хлопот: «Здравствуй, дорогая мама!» Все правильно, но плоско до немоты, и Кай Юлий Цезарь так начинал, и неандерталец. Чужие слова. А еще ведь продолжать надо: «У меня все в порядке, очень много работы». Фразы, как бритый газон. Сразу тянет встать на голову: «Привет, старуха! Дела – в порядке, будь спок». А от этого уж прямо тошнит. Есть в этой карточке какое-то малосольное бодрячество, неприятное даже среди сверстников. И какая уж там «старуха», когда матери в самом деле пятьдесят шесть, а не двадцать четыре, чушь.

В общем, когда изобрели письмо-телеграмму, Юрий сразу понял, что это для него. И мать быстро вошла во вкус. Раньше, если Юрий молчал больше десяти дней, она отправляла директору заказное письмо-запрос. Громоздко. А теперь прямо шлет телеграмму. Сколько лет, как Юрий уехал, а все матери кажется, что именно сейчас, когда он так страшно молчит, с ним наконец-то что-то случилось. И она в состоянии выждать лишь десять дней, это ее предел.



Осенью мать приезжала сюда в отпуск. Залпом прочла «Традиционный сбор», отложила, сказала задумчиво:

«Юра, а почему бы вам не взять какую-нибудь хорошую пьесу?»

«В самом деле: почему бы не?» – усмехнулся Юрий.

«А то тут какие-то все противные, – мать брезгливо постучала по пьесе. – Одна с мужем живет не любя. Другой детям на ноги наступает. Третья вообще живет с другим. Все какие-то грязные, и ни у кого ничего не вышло».

«Почему же обязательно грязные, если не вышло?»

«Нечего тут показывать, – сказала мать. – Кому это надо?!»

«А ты у меня, оказывается, гм, да,» – улыбнулся Юрий, они тогда как раз дрались за «Традиционный».

Мать ничего не сказала, но обиделась. Даже отпуск не дожидаясь, уехала к себе в Ивняки.

Мать жила под Москвой, полтора часа электричкой по Курской дороге и еще пять километров от станции. Поселок Ивняки. И Юрий там вырос. Незадолго перед войной в Ивняки перевели научно-исследовательский институт, в котором работал отец, разгрузили столицу. Институт получил в Ивняках блистательный особняк, кажется, бывший голицынский. Два мраморных льва стерегли институтский подъезд. Естественно, на львах, сменяя друг друга, сидели мальчишки. Старый сторож лениво грозил им ружьем, заряженным солью.

Сторож по совместительству стерег церковь, которая высоко золотилась сразу за институтом: там хранилось научное оборудование. Дощечку «Охраняется государством» к церкви позднее приляпали, когда уже нечего было хранить. А тогда мальчишки всю обдирали позолоту. Риск. Сторож с солью. И темнота, ночью приходилось работать. Церковь поскрипывала в темноте. Ангелы валились кусками, норовя попасть в голову. Бегали мыши, что они только там жрали, иконы, что ли. А однажды вдруг рухнул крест. Среди бела дня. Так жахнул в траву с высоты, что корова завхоза, которая паслась рядом, с этого дня прямо рехнулась. Никого не подпускала доить и выла по вечерам низко и длинно, как волки.

Все в Ивняках было прямо такое графско-княжеское, приятно вспомнить. Даже кино крутили всю войну в бывшей голицынской конюшне. Сеанс шел своим ходом, а рядом за стеной верещали свиньи, подсобное хозяйство института. Многие фильмы Юрий так и запомнил на всю жизнь – с поросычьим визгом вместо фона. Пересмотренные позднее в приличных кинозалах, они уже не давали того эффекта.

Там, в голицынском парке, Юрий впервые познал и сладость актерского успеха. На открытой эстраде, которая была высока и шершава, в школьном спектакле. Балду он тогда сыграл. Это была роль! Стоило целый вечер жить напряженной творческой жизнью даже ради одних только финальных щелчков попу – в лоб. Юрий вкатил ненавистному попу таких шелабанов, аж руку ломило и в кустах выли болельщики.

У Лехи Баранова, который был поп, даже выжались слезы, по штуке на глаз.

Они с Лехой еще шикарно раскланялись, взявшись за руки, как велела учительница. Потом им еще букеты преподнесли, цветочки-ягодки. Юрий поскорее сунул свой букет матери, чтобы не заметил никто, как простой веник волнует мужественное сердце.

А еще потом, когда зрители уже разбрелись, – под срезанной луной и в тиши созревающей бузины Леха Баранов классно набил Юрию морду. За те шелабаны. Леха его, собственно, подстерег, а то еще неизвестно, кто бы кому. Но даже разбитой мордой Юрий тогда сознавал Лехину правоту, потому что попа играть никто не хотел, а Юрий сам уговорил Леху.

В тот вечер Леха Баранов высадил Юрию зуб, самый передний. И Юрию срочно пришлось научиться лихо сплевывать через выбитый зуб. И этот зуб, которого уже не было, вдруг принес пользу. За лихой сплев Юрия неожиданно зауважала местная шпана младшего школьного возраста. А шпана эта, поселковые аборигены, воспитанные местной каменоломней и ее взрослыми нравами, долго еще презирала институтских «гогочек». И при случае была смертно, куча – на одного. И обзывала в лицо простыми словами, где даже не ошибешься в ударении. Впрочем, мат в послевоенных Ивняках был модой, это сейчас стало фешенебельное место. А тогда прежде всего спрашивали приезжего новичка: «А ты

материться умеешь?» Ценилось умение. А у Юрия эти слова застревали в глотке, так что компенсация с зубом пришлась очень кстати.

Сплевывал он лихо. Особенно – при девчонках. Особенно если Розка Кремнева была где-то близко.

На другой день после драки Розка Кремнева пришла к ним домой. Только один раз она и была у них дома. Юрий сам слышал, как она договаривалась с его матерью. Розка была на полтора года старше, уже в седьмом, и хотела посоветоваться с матерью. Учиться после седьмого она не могла, младших еще было полно в семье, а Розка – старшая. Отец с войны не вернулся. Юрий сам слышал, как мать сказала Розке: «Вечером приходи, посидим и все обсудим».

И весь этот день Юрий маялся. Он даже пытался драить умывальник зубным порошком, благо все на работе. Умывальник от порошка блестел нехорошим нищенским блеском. Потолок в кухне тек. Они с матерью занимали тогда огромную низкую комнату в так называемом «глинобите», многоквартирном доме без всяких удобств. Вселились временно, пока институт строит свои дома, а потом сразу – война. И застряли в «глинобите» надолго.

В тот день, когда пришла Розка, Юрий даже пытался перекрасить рамку, в которой висела над столом фотография отца. Эту рамку мать принесла с барахолки, и цвет у нее был ядовитый, никакая краска этот цвет не взяла. Много лет спустя, когда Юрий уже уехал из дому, ему стало не хватать в

жизни именно этой рамки. Тогда он выпросил у матери старый портрет. И уже давно в каждой новой комнате прежде всего Юрий вешает его на стену. В той самой рамке.

Отец пропал без вести в ноябре сорок первого, но мать, кажется, до сих пор на что-то надеется. Выискивает во всех газетах рубрику «Кто что знает», где родные ищут родных, потерянных в годы войны. Очень уж поздно ее завели, эту рубрику. Потом вдруг скажет между прочим: «Вот считали – погиб, погиб. А человек просто двадцать пять лет ничего не помнил и вдруг сразу вспомнил. Вот тебе и погиб!»

«Это же случай на миллион», – напомнил Юрий.

«Кому-то он выпадет, этот случай», – скажет мать упрямо.

При отце мать не работала, хоть училась когда-то на историческом. Бросила или выгнали, оба они с матерью – недоучки. А потом ткнулась: в школе мест нет, лаборанткой – тоже. И тогда мать пошла в машбюро, просто попробовать, благо машинисток всегда не хватает. А в бюро у нее вдруг обнаружились необыкновенные способности.

Только с руками она мучилась в первое время: до крови сбивала пальцы. Вечером мать садилась поближе к лампе и осторожно мазала руки вазелином, каждый палец отдельно. Втирала. И беззвучно ойкала. А Юрий каждый вечер следил за ней из-под одеяла. Он привык тогда к этому ритуалу, как к молитве: она намажет, поойкает, и он сразу заснет.

Маленьким Юрий любил слушать, как весело мать печатает. Будто дождь по крутой крыше, легко и часто. Двенадцать

экземпляров в машинке, а все равно у нее выходило легко. Ту машинку, старый «Ундервуд», мать до сих пор вспоминает. Мать стучала на высшей скорости и еще успевала следить за смыслом. Ловила ошибки в тексте, если там были не только формулы, и незаметно правила стиль, всегда она была тихим стилистом-любителем, а теперь пригодилось.

Институтский народ быстро тогда разобрался, что к чему. И к матери сразу стала очередь: все значительные статьи шли теперь только через нее. Можно сказать, что на матери держалась целая научная отрасль, немаловажная в народном хозяйстве. И домой к ней бежали после работы. Срочно. Спешно. Журнал ждет. Издательство помирает.

Вечно они табунились дома, эти научные силы. Кандидат наук Хромов. Завсектором Николаенко. Завлабораторией Ламакин. Профессор Кузнецов. Юрий с детства привык к этим званиям и степеням, уже казалось, в порядке вещей. Как домоуправ Спиридоныч. Или гардеробщица Женя. Просто фамилия уже выглядела голо: «Кузнецов». Это что же за Кузнецов? А-а-а, это же «профессор Кузнецов». Который всегда пересчитывает копирку до листа и проверяет поля школьной линейкой.

В институте, конечно, был разный народ.

Но к одному, Ивановскому, Юрий всегда чувствовал особую тревожную настороженность. И даже подрастая, не мог ее в себе одолеть. Тогда Ивановский был еще кандидатом, с легким брюшком и проплешиной, которую прятал. Этот

Ивановский вечно притаскивал матери грязные черновики – какие-то цифры, графики, бессвязное описание опыта и намеки на выводы. Мать к этому времени уже поднаторела в профиле института, особенно – лаборатории Ивановского. Из его винегрета она ухитрялась делать довольно приличные статьи, все кругом прямо поражались. А этот нахал Ивановский, унося в клюве готовенькую работу, еще надувался и поощрительно говорил матери:

«Вы, Верочка, думающая машинистка. Вы, Верочка, исключительно схватываете мысль».

«Зачем тебе это надо? – сердился Юрий, когда достаточно вырос, чтобы сердиться. – Он же двух слов сам не может связать! Пожалела бы лучше науку!»

«А мне Аню жалко, – смеялась мать. – Это я для Ани».

Аня была жена Ивановского, она его прямо боготворила. Все забегала к матери посекретничать, какой Ивановский умный, чистый, честный. И как ему трудно в этой научной клоаке – имелся в виду институт. Как ему все завидуют и строят козни.

«Она прямо больная какая-то, твоя Аня», – говорил Юрий.

«Просто она его любит...»

«Ничего себе просто. Кого? Ивановского?»

«А что? – говорила мать. – Она просто верующая. По натуре. По своей конституции. Он на нее однажды взглянул, и она в него на всю жизнь поверила, так у женщин бывает».

Позже-то Юрий сам убедился, как это бывает.

А тогда он только крутил головой. Пока, наконец, не понял, что дело не в Ане. И уж, конечно, не в Ивановском. Просто не так уж мать счастлива за своей машинкой, перестукивая чужие работы. Мало ей этого. Она бы свои давно делала. Недаром она сидит в лаборатории Ивановского и все роется в специальных книжках. Она бы сама давно кончила аспирантуру и всем нос утерла. Но поздно уже начинать. А кому нужны прозрения машинистки широкого профиля в узком, сугубом вопросе большой науки? Только Ивановскому. И мать ночами готовила статьи Ивановскому и гнала прочь всякие мысли, которые опоздали.

Горько было это понять. И покрепче запрятать в себе, чтобы мать не догадалась, что понял.

Ивановский уже высидел докторскую. Облысел окончательно. Брюхо его выползает из-за угла на добрый метр впереди самого профессора Ивановского. Аня его по-прежнему обожает. А статьи Ивановского все еще идут через мать. Мать правит, тасует цифры, укрупняет выводы. Теперь она даже спорит с Ивановским, мать тоже выросла. А этот профессор, запихивая в толстый портфель с амбарным замком готовенькую работу, еще надувается и снисходительно говорит матери:

«Вы, Верочка, единственная думающая машинистка. Если так дальше пойдет, я просто буду вынужден взять вас в соавторы».



Это кажется Ивановскому вопиющей шуткой. Отсмеявшись, он говорил Юрию одно и то же, каждый приезд – одно и то же:

«Убежал от науки, и молодец. Мы все землю, можно сказать, копаем, а ты у нас – вольный служитель муз...»

Чтобы не смущать мать, Юрий неопределенно улыбался профессору Ивановскому, уж этому-то он научился в театре: улыбаться, где требуется по роли. И подавать нужные реплики. Но тут даже реплик не требовалось.

«Редко, редко стал ездить, – отечески журил профессор. – Глядишь, доживем – во МХАТе тебя где-нибудь увидим».

Так вознесся Юрия, профессор Ивановский, наконец, удался. Мать долго смотрела в окно, как медленно он идет, прижимая толстый портфель с амбарным замком. Потом сказала:

«Совсем больной стал. Зимой опасались инфаркта. Ты на него не сердись».

«А чего мне сердиться?» – сказал Юрий. «Ему уже шестьдесят седьмой, – напомнила мать. – Ты его и не знаешь совсем. А мы все тут целую жизнь вместе прожили. – Мать вздохнула, добавила: – И меня-то теперь не знаешь».

Опять полтора года в Ивняках не был. Вроде близко, а все никак. Зачем-то прошлый отпуск на Волгу убил, могучая и чужая река. Катит. Катись. Наташа уговорила, Юрий вообще рек не любит, любую воду не любит. В Ивняки особенно тянет ранней весной, когда первая трава лезет, угловаты-

ми стрелами пробивая камни. Юрий давно заметил – когда лезет первая трава, ему даже снятся Ивняки. Иногда снится мать.

Если он только одиннадцать дней промолчит, она успева-ет дать телеграмму директору. Раньше, когда он был мальчишкой, мать так над ним не тряслась. Раньше она была равна и несентиментальна. А сейчас? Что Юрий знает о ней?...

Уже пятьдесят шесть. Не сильно пока сдала, но все-таки есть немного. Заметно. Хочет большой ковер в дом, раньше была равнодушна к ворсистым узорам на стенах. И к мягкому под ногами. Нужно было подарить ей этот ковер вместо Волги. Стала слишком интересоваться искусством – симптом в общем тяжелый, предпенсионный, значит, тяготится своим одиночеством, хочет быть ближе к Юрию через это его искусство. Выписывает журнал «Театр». Пристрастно следит за новостями на культ-фронте. Любой новый фильм обязательно смотрит и просит потом объяснить, чем же хорош. Или плох. Все время чувствовал Юрий, как тянет ее поговорить с ним на театральные темы. Несколько раз начинала. Хотел, но не смог поддержать, доставить ей удовольствие. Со случайным знакомым иногда проще разговориться о главном, чем с человеком близким. От знакомого ничего и не ждешь, кроме простого обмена впечатлениями. А с матерью – малейшее непонимание убивает. Пугаешься сразу, как маленький. И с трепетом ждешь, что когда-нибудь она все-таки скажет, что театр начинается с вешалки. Было бы ужасно

услышать эту крылатую плешь еще и от собственной матери. Если бы классики знали, во что обратятся их цитаты, они бы сроду не говорили цитатами.

Когда Юрий приезжал в Ивняки, мать все старалась ему доказать, что он там дома. Убедить его и себя. Что именно тут, в Ивнях, его настоящий дом, что он не перекаати-поле, нет, у него есть корни. Тут, в Ивнях. Почти родовые корни.

Никак мать не могла от этого отступить: Юрий здесь свой, и ему все кругом свои. Поэтому она сыпала новостями, которые должны его волновать. Как своего. Радовать, возмущать или тревожить. Юрий слушал сочувственно, но ивняковские новости уже не задевали его всерьез.

«Профессор Хромов такой всегда был здоровяк, ты же знаешь, – слышал Юрий будто издалека, – ложится на операцию...»

А Юрий встретил на улице профессора Хромова и не узнал. Забыл начисто. Разобидел старика. Потом уже сразу начал здороваться со всеми подряд. И мать сообщила, что в Ивнях им довольны: простой, не зазнался, внимательный, хоть и артист.

«Да, чуть не забыла! – оживилась мать. – Пряхин же защитился! Целое событие. Мы все так переживали...»

Иногда мать уже перехватывала. Никакого Пряхина Юрий не знал, это уж точно. Хотя все равно приятно слышать, что наука не оскудевает людьми, которые защищаются. Юрий представил, как защищался этот Пряхин – изящный, в чер-

ном трико, с большим носом. Сирано Пряхин, Юрий часто всех мерил на Сирано – чистота и верность. Шпага в руке Пряхина так и мелькала. Она не была отравлена, Пряхин уложил оппонентов, как джентльмен, и устало вышел на аплодисменты.

«А племянница Карманова – вот оказалась штука. Просто ужас! Неля Карманова. Да ты ее должен помнить, она чуть постарше была».

«Не помню», – сказал Юрий.

«Как лес? Беленькая такая, полная...»

«Не помню», – пожал плечами Юрий.

«Она еще с Розой Кремневой училась в одном классе», – быстро сказала мать, будто вдруг решила сказать.

Был у них с матерью контакт. И есть. Столько лет прошло, но она не сказала: «С Леной в одном классе», а сказала: «С Розой». И тут Юрий мгновенно вспомнил, весь Розкин класс он знал по партам, кто где сидел. Розка – всегда на первой, даже на первой-то учителям трудно бывало сладить. Розка шкодила, как дышала. Изящно, изобретательно и взахлеб. Играют в двенадцать палочек – Розка пряталась ловко: сложится, как складной нож, и пропала, вдруг вылезает из-за угла, прямо на водящего. И стоит, хоть бы бежала застукаться. «Ты чего, Розка?» – ошарашится даже водящий. «Отстань. Я просто дышу, понял?» – И втягивает воздух, как собака болотную прель. Стоит. Потом как вдруг рванет с места. Как запустит взлет все двенадцать палочек. Сложит-

лась, как ножик. И сразу пропала. Только водящий остался дурак дураком. Чего не застукал? Это же Розка! И ее штуки!

За Розкой, на второй парте, сидела Ритка Чибасова, вечно чем-то обиженная. Длинная, с крошечной головкой, по прозвищу Змеюка. Ритку Чибасову Юрий как-то встретил в метро, вот была встреча! Сверху, по эскалатору, съехала прямо на него гран-дама последнего выпуска: плечи вразлет, лиловая чешуя, задок, все на месте, по лучшим западным образцам. Огромные волосы над смеющимися глазами. «Мазин?! Ты? где? как? Я индолог, только что вернулась из Индии, надоело ужасно». Рядом, за Риткиным плечом, переминался могучий дипломат, краса корпуса. В театре был бы на ампула первого любовника до гробовой доски. «Прости, ужасно торопимся. Владик, пошли!» Он рванулся за Риткой, как на любимую Голгофу. Вот тебе и Змеюка.

А за Риткой, кажется, эта. Вот именно. Нелька Карманова, белобрысая флегма, за партой она сидела, как куль.

«И что ж Нелька?» – сказал Юрий.

«Уму непостижимо, – сказала мать. – Ведь дядя ее воспитал, без матери, без никого. Выучил. Прописал ее мужа к себе. Двое детей, всех кормил. Сам без кабинета, буквально работал за кухонным столом. Все – для них, все – Нельке. А теперь слег и никому сразу не нужен, дети даже в аптеку не сходят. Сама Нелька, представляешь, бегает всюду, чтоб разменять квартиру. Может, так теперь полагается у моло-

дежи...»

Этого мать, конечно, не думает. Просто повторяет чьи-то слова. Просто ей хочется, чтобы Юрий опроверг ее с неподдельным жаром и она бы еще раз увидела, какой он хороший, добрый, отзывчивый, как не похож он на Карманову. Старает.

«Прости, это я уже злюсь, – сказала мать. – Так Карманова жалко, он же ей все отдал».

«А ВСЕ никогда детям нельзя отдавать, – неожиданно вслух подумал Юрий. – Они этого не ценят. Они даже это не уважают в родителях. Они даже любят, чтобы родители оставляли себе кое-что».

«Какой ты умный, – сказала мать. – Это на собственном опыте?»

«Не волнуйся. Ты-то меня держала в узде. Правильно делала».

«Спасибо», – улыбнулась мать.

«Правда, – сказал Юрий, – не понимаю я этой родительской истерии: отдать! отдать! Чтобы потом упрекать – я тебе все отдал, а ты сякой-этакий. Достаточно, что они будут жить дольше минимум на тридцать лет. И все у них еще будет».

«Теоретически мудро, – сказала мать. – Но на практике! Жаль, ты не можешь на Боре попробовать, сам убедился бы...»

«Жаль», – сказал Юрий.

Ивняки теперь разрослись, такое стало курортное место –

куда там! Москва сюда добралась, с ластами и «Спидолой». Отгрохали целый корпус для аспирантов. Масштабы. Дома. Корпуса. Кварталы. Но все-таки у прежнего «глинобита» было свое лицо – мрачное, многосарайное рыло. Но свое. А теперь Ивняки тоже заштамповались. Как и город.

Именно в Ивняках, как нигде, Юрий чувствовал себя поколением. И ощущал свою связь и разрыв с другими поколениями. Одно – хромало теперь по центральной аллее, обсуждало последнее выступление академика Кынева, перспективы для института в свете этого выступления, ругало лето, зиму, гипертонию и министерство. Другое – с визгом носилось по боковым аллеям. Сотрясало спелую бузину, в тени которой они дрались когда-то с Лехой Барановым. Поколение лезло в кино без билетов. Задирало головы: «Реактивный, с вертикальным взлетом». Запойно играло в футбол. Училося в английской школе с математическим профилем. Воровало георгины с институтской клумбы, чтобы бросать в чье-то окно. Презирало того, кто бросал. Смутно завидовало ему.

Юрий часто чувствовал себя в этом поколении. Хоть и перевалило за тридцать, но в этом. А оно уже шарахалось от него по кустам, называло «дяденька».

Парк был когда-то громадным. Теперь и парк съежился, теперь он казался Юрию просто запущенным сквером. Старая церковь шелушилась, кое-что тут можно бы еще ободрать. Интересно, есть ли сейчас любители.

Наконец-то построили настоящий мост. Прежний был

временкой, скорее, мостки, чем мост. Река сносила его каждое половодье. И пока льдины грызли друг друга, в школу переправлялись на лодках. Если река чересчур бушевала, вообще не ходили в школу. Любимое было время: отменялись контрольные и прощались все опоздания. И матери каждое половодье писали в газету, что это форменное безобразие, институт буквально отрезан от мира, хлеб не завозят, дети рискуют здоровьем на лодках, может быть, жизнью.

Но риском, по правде сказать, переправу никто не считал: привыкли. Лениво отпихивались от льдин баграми и переплывали.

Перехваченная новым мостом, река неожиданно сузилась и измельчала. Юрий с трудом нашел место, где раньше была переправа.

В то утро даже и льдин уже почти не было. Река входила в берега. Снег осел, но еще держался. Стал только тяжелым и желтым. И на этом плотном снегу Розка Кремнева написала в то утро у самой переправы: «Юрка, я тебя люблю».

Палкой. Как выбила на снегу. У самой переправы, рядом с дорогой. Все шли и смотрели. Восторженно визжали девочки. Можно было разобрать только, что Розка выиграла у кого-то. Значит, написала – на спор.

Юрок тогда в Ивняхках было полно. Но Юрий знал. И девочки знали, визжа. Даже Леха Баранов, отсталый в этом развитии, ткнул ему кулаком: «Мазила, тебе письмо!» Юрий почувствовал, что даже плечо у него краснеет, аж жжет



под пальто. Медленно обернулся. Медленно прочитал – под взглядами. Зевнул. Отвернулся.

Первая лодка уже отчаливала, но Юрий успел прыгнуть. Обругали. Потеснились. На том берегу Юрий вдруг сунул Лехе портфель, влез в автобус и уехал на станцию. Проболтался до конца первой смены, не мог он сегодня в школе сидеть. Видеть Розку. Десять минут, перемена. Не видеть ее. Если бы он тогда не успел прыгнуть в лодку...

В то утро одна лодка перевернулась. Последняя. Всех, правда, быстро вытащили. А кто и сам доплыл. Только парень из третьего «В» нахлебался, уже не вспомнить, как его звали. И учительница литературы, которая у Юрия ничего не вела. Эта учительница так испугалась, что сама же отталкивала все руки. И быстро-быстро плыла по-собачьи. А вокруг нее плыли тетради. Все спасали зачем-то эти тетради. Потом учительница вдруг отяжелела, намокла, наверное, и стала неловко нырять боком. Тогда уже ее насильно втащили в лодку, но все-таки наглотаться она успела.

А Розку Кремневу ударило лодкой по голове, и она утонула сразу, никто даже не заметил. Просто, когда всех вытащили на берег, кто-то вспомнил, что была еще Розка. Но Розки нигде не было. Ее только через двое суток нашли, уже в Москве-реке.

Когда Юрий схватил в прошлом году воспаление легких и валялся с температурой за сорок, он вдруг увидел Розку. Таковую, как ее нашли через двое суток, тогда он ее не видел, ко-

нечно. Розка, расплывчато-страшная, наваливалась на Юрия и шептала ему в лицо: «Юрка, а я люблю тебя!» И голос у нее был прежний, тот, Розкин, который Юрий забыл и давно уже не мог вызвать в себе. А сейчас, в бреду, этот голос вдруг ожил. И Юрий рванулся ему навстречу, хотя Розка была безлика, черная, не Розка уже, а только Розкин голос. Он свалился с кровати, ударился головой и закричал каким-то последним криком, высоко и слабо. Наташу он в тот раз напугал, долго потом спрашивала, что ему показалось, когда вдруг закричал таким криком.

У переправы тогда за полдня истоптали всю землю, снега не осталось. Юрий до темноты просидел в церкви, за ящиками витаминного сектора. Слышал, как его искали на улице.

Раньше Юрий никогда не думал о боге, просто драл позолоту со старой церкви. И когда во втором классе Ритка Чибасова, Змеюка, подначила: «Мазин, слабо на церкву плюнуть», – он плюнул мгновенно.

А в тот день, сидя за ящиками витаминного сектора, Юрий вдруг подумал: «Если ты есть, пусть Розка!...» Если бы Розку после этого вдруг откачали, наверняка пошел бы по духовной стезе. Но бог упустил случай. Бог, как всегда, ничего не смог, и больше Юрий уже никогда не обращался к нему. Хотя чем старше становишься, тем соблазнительней – верить: снять с себя часть поклажи и переложить на кого-то. И тем невозможней.

Мать только ночью нашла тогда Юрия. На переправе. Ни

одного вопроса не задала. Молча постояла рядом и пошла назад к поселку, не оборачиваясь. Юрий пошел следом. Если тащила бы, убежал. Если б ругалась, не смог бы потом простить, он вообще прощать плохо умеет. Как Борька. А Борьке ведь сейчас почти столько же, сколько ему тогда, на переправе.

Борьку он не ждал. Он ждал девчонку и хотел назвать ее козым именем Розка, редкое теперь имя.

Из-за Розки Юрий и порвал Некрасова, вредно читать сверх программы. Мать как раз в то лето купила коричневый однотомник, и Юрий вдруг прочел: «Хорошо умереть молодым». И дальше там шла сытая болтовня про кудри, которые надо увить, и еще о чем-то. Юрий проглотил эти строчки, как бритву, взревел в голос и рванул однотомник, рвать было трудно, будто заклепан, ногти сломал, пока рвал. Ни над каким «Оводом» Юрий так не ревел, вот что значит собственный опыт. Он не знал лжи острее и бесчеловечней, чем эта, — хорошо умереть молодым. И теперь не знает. Но тогда между ним и искусством в лице Некрасова не было никакого расстояния. Ни веков, ни километров. Все было о нем. О Розке. Можно только возненавидеть и заорать. Юрий орал, рвал и топал ногами. Мать его так и застала. Мать испугалась, потому что он не был психом и не ревел при ней с тех пор, как помнил себя. Со школы — во всяком случае, замкнутый был звереныш. И еще потому, что она не могла отыскать причину, книг Юрий не драл никогда.

Чувства к Некрасову у Юрия не прошли с годами. Когда в девятом классе им на экзаменах дали Некрасова, все в Юрии сжалось. К этой теме он был готов. То стихотворение по-прежнему хлестало его по пяткам. Написал. Когда вышел из зала, руки дрожали. И внутри стояло какое-то горькое умиротворение. Будто он отомстил кому-то за Розку. Будто смысл оскорбления кровью. Завуч восторженно пискнула, когда он выходил: «Какое вдохновенное лицо, Мазин!» Завуч была кокетливой карьеристкой, искала дарования в своей школе и цеплялась к каждому слову, хорошему или плохому, все равно.

Комиссия прочла сочинение, и сразу потребовали мать, с Юрием они даже разговаривать не хотели. Он пытался не пустить мать, но она, конечно, пошла. Очень долго ходила. Пришла тихая. Сказала:

– Что ты сделал завучу? Она тебя прямо терпеть не может.

– Она всех – не может, – сказал Юрий, не удивившись, хотя завуч всегда будто бы благоволила к нему.

– Ты злопамятный. – Юрий понял, что она имеет в виду не завуча. – Так что же за счеты у тебя с Некрасовым?

– Личные, – сказал Юрий.

Вот тут мать вдруг по-настоящему разозлилась, хочется даже сказать – разгневалась. Такое у нее вдруг стало лицо: жесткое, тонкое, яростно-независимое. С таким лицом героини Тургенева отказывают непорядочному человеку.

– Вот именно. Личные, – повторила мать жестко. – И ты

хочешь, чтобы все рылись в этом твоём личном и доискивались причин. Ты заставил всех рыться. Это отвратительно.

– Я писал, что думаю, – напомнил Юрий независимо.

– Это все равно. Лучше бы ты прямо порвал на себе рубаху посреди площади.

– Но я же так действительно думал. Что же врать?! – почти закричал Юрий, он уже знал, что она права.

Когда он крикнул, мать вздрогнула и замолчала. Гневное выражение медленно сползло с ее лица, лицо как-то стихло и будто похудело. Потом она сказала задумчиво:

– Если бы от этого хоть что-нибудь могло измениться...

И Юрий понял, что она даже не Розку имеет в виду. Может, она вообще даже не думала сейчас о Розке. Пропал без вести – иногда хуже, чем убили. Но Юрий все-таки предпочел бы, чтобы Розка пропала без вести...

За сочинение могли даже выгнать. Запросто. Но почему-то не выгнали и даже не приставали, чтобы переписал. Просто вlepили трояк, и тем дело кончилось. Одна Лена его тогда поняла, с этим сочинением. Лена его всегда понимала. Он уже сам был с собой не согласен, а она даже не колебалась. Уже тогда она верила в него безгранично.

Пока была Розка, Юрий даже не замечал Лену. Просто Розка вечно таскала ее за собой, как хвост. Они рядом жили. Лена была тогда аккуратной коротышкой. Аккуратно поправляла платье, когда садилась. Даже на велосипеде ездила в платье, мама у нее славилась в Ивняхках строгостью нравов.

Все Лене было нельзя: плавать, загорать, бегать – все мама не велела. И все делалось тайно, под Розкиным нажимом. От каждодневной этой тайности в Лене жила непонятная боязливость. Она боялась мальчишек, темноты, пустых комнат, дождя. Даже не грозы, а именно – дождя. Когда шел затяжной дождь, Лена подолгу плакала без причины, не хотела выходить на улицу, мама даже водила ее к невропатологу.

Лена была уже в седьмом классе, а никому даже в голову не приходило толкнуть ее в коридоре, чтоб испытать мгновенную, как ожог, близость, или сунуть ей записку в карман, как другим писали. Лена была симпатичной, но как-то неинтересно. Той странной симпатичностью, на которой почему-то невозможно остановиться, глаз невольно скачет куда-то дальше, такое лицо на бегу не остановит. Только Розка всегда таскала ее за собой, защищала, втягивала в игры и выделяла из всех.

Без Розки Лена сразу оказалась одна. Даже со стороны было видно, как ей каждую минуту не хватает Розки. Уже не вспомнить, как он к ней первый раз подошел, Лена наверняка помнит. Он подружился с ней, удивив всех. С девчонками Юрий никогда не дружил – даже с Розкой ведь он не дружил, с Розкой они были в активных контрах, что говорит взрослому глазу куда больше, чем самая складная дружба. Но с Леной они так называемо «хорошо дружили». Так что даже Ленина мама доверяла его порядочности вполне. И даже приглашала мать Юрия на Новый год, на семейный

праздник. И все дразнилки от них отстали давно. Ивняки к ним привыкли.

Юрий сам позже смеялся: «У нас с тобой два пути – или мы оправдаем доверие, или надежды». И Лена смело смеялась в ответ, потому что была уверена. Зачем они не оправдали доверие?...

## 6

Пока доберешься до телеграфа, можно вспомнить всю жизнь. Как перед дуэлью. Телеграф запихали на четвертый этаж, а место ему – только на первом: кто шлет телеграмму, всегда торопится, соображать надо. Пока лезешь, забудешь, зачем шел.

Юрий толкнул дверь и, наконец, проник.

Главтелеграф оглушил его криками, стуком и запахом. Пахло мокрой овчиной, которая сохнет прямо на голом теле. Юрий удивился, как удалось разноцветной синтетике родить столь стойкую овчинную гамму. На телеграфе было тепло, снег мигом истаивал на вошедших. Крики неслись из междугородных кабинок. Обычная слышимость: внутри, в телефон, абсолютно ничего не слышно, зато снаружи – вся подноготная доступна каждому. Возле крайней кабинки даже стояли болельщики, они согласно трясли головами.

Юрий с трудом нашел бланк и приткнулся к столу. Ручка не писала. Чернил в общем тоже не было. Интересно бы проследить, как мелкие препятствия видоизменяют текст телеграмм уже на самом телеграфе. Вместо: «Приезжай жду обнимаю» уже хочется написать: «Иди к черту». И никаких объятий.

Юрий сделал усилие, чтобы сосредоточиться и вызвать в себе спокойную деловитость крепко стоящего на земле че-



ловека. Таким он старался всегда быть в телеграммах матери, малейшие сейсмо толчки она понимала мгновенно, хотя уж какие вроде толчки в телеграмме. Дальше дорожка накапанная, ничего только не забыть. Благополучно, много работы, взяли новую пьесу, роль есть, погода отличная, снег. Наташа здорова. Поцелуй под занавес. Кажется, все. Сунуть в окошечко строгому маникюру и не перечитывать, это главное. Свинство, конечно. Пора письмо написать, прямо сегодня же.

Юрий уже стал в очередь. Но вовремя вспомнил, что ничего не сказал о Борьке. Значит, завтра же к вечеру придет от матери встречная депеша: «Почему ничего не пишешь о маленьком вопрос». Мать всегда зовет Борьку «маленький», хоть и неудобное слово. Длинно. Просто ей не нравится имя – Борис. Юрию было тогда все равно, и Лена назвала по отцу, Ленин отец чем-то несимпатичен матери, у них, в Ивняках, свои счеты. Но «Борька» даже нравится Юрию. Как кувырок через голову.

Он вернулся к столу и приписал, благо место было: «У Борьки двоек нет, по физкультуре опять ожидается тройка».

Значения это ни малейшего не имеет. Двоек У Борьки никогда не было, а по физкультуре он тоже никогда выше тройки не поднимался, мать знает. Но лучше всего ее убеждает конкретность – Цифры и факты. Хотя, насколько известно Юрию, они с Леной переписываются довольно успешно. В прошлом году и Борька писал, теперь бросил, мать как-то

жаловалась.

Юрий вернулся в очередь и был изгнан с позором. Там уже заняли, никто его видеть не видел, нужно просто совесть иметь. Он стал в конец, а впереди все еще раздраженно шуршали. Нельзя на неловких девушек за стеклом, так хоть друг на друге отвести душу. Юрий был тихим громоотводом. Таких тихих в очереди ругают с особым остервенением, давно замечено. Все-таки самая страшная смерть, наверное, ходынка. А вершина – когда один держишь весь зал словом, паузой, жестом. Так, наверное, чувствует себя укротитель, когда кладет голову в пасть и тигр обжимает ему щеки ласково и покорно.

За Юрием никто пока не стоял.

Вдруг он услышал, как это «никто» сзади вздохнуло. Слабо, как булькнуло. Юрий покосился назад: нет, никого. Только опять погрузился в мысли, как пустота сзади снова вздохнула. Уже громче. Юрий резко повернулся. Чуть не зашиб маленькую старушку с тяжелой авоськой на слабой руке. Старушка бесстрашно улыбнулась ему и спросила, видно, не в первый уже раз:

– Это вы крайний?

– Это я. Простите.

– Ничего, – мелко засмеялась старушка, и Юрий увидел, что она, собственно, не старушка еще, просто ранняя бабушка, при доме, при детях и при покупках, но еще очень бодрая тетка, на слабой лапке у нее болталось килограммов восемь

картошки. – А я рядом с Леночкой живу, – радостно сообщила она Юрию. – Одним этажом ниже. Вы меня, конечно, не помните, а я-то вас сразу признала.

– Очень приятно, – сказал Юрий, чувствуя сильное искушение отложить телеграмму на завтра.

Он отвернулся, но она необидчиво сказала ему в спину:

– Ваш Боренька к нам частенько забегает...

Юрий спокойно стоял в очереди, будто не слышал.

Тогда сзади сказали прямо:

– Я давно с вами хотела поговорить, да все как-то случай не выпадал...

Он все еще делал вид, что это – не ему, хотя особая вкрадчивость ее тона уже насторожила. Когда соседки начинают так вкрадчиво, у них обычно бывают козыри.

– Леночку не хочется волновать, все ж таки мать, больно к сердцу берет...

Юрий обернулся. Отгородил ее от других. С трудом удержался, чтобы не попросить – потише. Надо было просто уйти. Но он уже чувствовал сковывающую зависимость от этой тетки с полпудом картошки через слабую лапку. Она поставила авоську на пол и теперь разминала лапку, помахивала. Достаточно разобралась и видела, что Юрий уже не уйдет.

– У вас мальчик хороший, не хулиган вообще-то... – сказала она так, что невольно виделось продолжение: не вор, не бабник, не тунеядец, не разбойник, не матерщинник...

– Вообще-то нет вроде, – подтвердил Юрий, успокаива-

ясь.

– Я и говорю: Боренька – мальчик хороший, мы ж видим, соседи. Добрый. Леночке помогает, коврик вчера на лестнице бил. На лестнице бы нельзя, так мы понимаем – мальчик же, мать на работе...

Чепуха, коврик, мелкие склочки.

– Я не об этом хотела, – сказала она, будто услышала. – Мальчик хороший, а мы так приглядываем, по-соседски. – Она хмыкнула, слабо, как булькнула: – Он странный какой-то стал последнее время. Тут на дворе Синякова, из пятой квартиры, возьми да спроси: «Боренька, твой папа кого представляет в театре?» – только и спросила. Весь прямо взвился мальчик. «У меня, – говорит, – папы нет». А Синякова, дура, конечно, хохочет: «Как это – нет? Вообще?» – «Вообще, – говорит. – Нет и никогда не было». Вот так Синяковой резко ответил, все на дворе слышали...

Она сделала маленький передых, и Юрий опять услышал, как кричат в междугородных кабинках, стучит телеграфная лента и пахнет овчина, высыхающая в тепле.

Недавно Юрий вот так же стоял тут в очереди, и рядом, в междугородной кабинке парень в свитере – Юрий только и видел через стекло этот свитер и шею – убеждал кого-то: «Ты держись! Будь на пол-лаптя выше!» Кто-то на другом конце провода не понял или не слышал. Или, может, у него больше сил не было, чтобы держаться. И парень раз пять еще повторял: «Все равно, слышишь? Ты, главное, будь на пол-

лаптя выше!» В голосе у него была заразительная сила. И вера, которая поднимает даже на расстоянии. И твердость, все в этом голосе было.

Поэтому даже телефонистки долго его не решались прервать, все только предупреждали, что истекло время. Потом, наконец, прервали. Парень положил трубку и пошел к выходу. Лица его Юрий так и не разглядел. Но даже в его походке было что-то крепко уверенное. Энергичная мощь. И спокойствие человека, знающего себе место. И цену. Характер чувствовался в походке. И этот характер вызывал уважение, почти зависть. Юрию захотелось окликнуть этого парня. Услышать, что думает он, например, о театре. И сыграть когда-нибудь этого парня. Его силу, словно ток бегущую по проводам и поднимающую кого-то в далеком городе.

– ...Я его устыдить хотела: «Как же так, Боренька, – говорю, – папа к тебе ходит каждую неделю, подарки носит, вон лыжи купил. А ты так говоришь нехорошо». Так только плечью дернул. И пошли куда-то с дружкой, Сорокиным мальчиком. С лыжами шли. А вернулись, так лыжи у Бореньки поломаны все. «Как же ты, Боренька?» – говорю. «С трамплина прыгнул», – только и сказал. А дружок еще так усмехнулся. Не иначе, Боренька нарочно лыжи сломал... А что лыжи деньги стоят, это же они не понимают никак. Я ему говорю: «Боренька, папа лыжи купил, трудился, а как же ты это неосторожно?» Так он мне опять ответил, весь двор слышал. «Я вам, – говорит, – уже сказал, что у меня папы нет», – так

мне резко ответил. И весь прямо ощерился мальчик...

– Что ж, – медленно сказал Юрий, все еще ожидая, что кто-то крикнет ему: «Будь на поллаптя!» Но никто не крикнул, и Юрий закончил, как с крыши упал: – Может быть, он и прав.

Маленькие ее глаза смотрели на Юрия настороженно, как два хорька. Но тут она вдруг улыбнулась:

– Сразу мужчину видать. У меня зять тоже все шуткой, как где неприятность, так он ее шуткой встречает...

У каждого есть своя тема, на сцене и в жизни. Ее тема была, оказывается, зять. Приятная ей тема. Она даже выпрямилась во всю свою крепкую хилоту. Юрию показалось, что сейчас она исполнит что-нибудь бодренькое, солнцу и ветру навстречу. Но она только сказала:

– У вас мальчик хороший, только надо за ним глядеть, все ж мальчик. А то на него мальчишка Сорокин влияет, все примечают. Их бы растащить надо, Леночка не понимает. Сорокин мальчишка из-подо лба все смотрит, да как усмехнется. А Боренька с ним дружится, все с ним...

– Боря меня знакомил. Симпатичный парень, – сказал Юрий, будто Борька мог слышать и оценить.

– Ничего вы не знаете, – она отмела Юрия лапкой. – А у нас весь двор знает. От Аси-то, от Сорокиной, муж в августе ушел. Седьмого августа. Ася приехала с отпуска, а в шкафу мужнего не висит ничего. Как сдуло. Только сорочку оставил, клетчатую. Либо забыл, либо так бросил: по вороту вся

сносилась. Подался куда-то, рубля не шлет. Ася-то даже не думала, шкаф открывает, а нет ничего. Теперь, конечно, на алимент подала, так найти не могут...

– Лена мне что-то такое рассказывала, – соврал Юрий.

– И рассказывать нечего, тут прямо надо меры. Мальчишка-то Сорокин сразу такой злой стал... Себе назло живет. И Бореньку только с пути сбивает.

– А у вас там чего? Я вам говорю, гражданин! Спите в очереди, а с вами возись тут, обслуживай!

Телеграфная девушка в упор смотрела на Юрия из окошка. Она радовалась служебному долгу – смотреть на него в упор. Эта девушка часто у Юрия принимала телеграммы и даже уже не спрашивала, есть ли в Ивняхках почтовое отделение. Юрий ей нравился, и потому она была сейчас очень груба. В других случаях она бывала груба просто так, а тут у нее даже была причина. Телеграфная девушка просто не умела выразить себя как-нибудь иначе. Юрий давно ее понял.

– Сейчас закрою на перерыв и вообще ничего не приму, другой раз не будете спать!

Телеграмму Юрий все-таки отправил.

Выскочив на улицу, подпер спиной главпочтамт, закурил, прикрываясь от снега. Вдруг вспомнил, что сейчас она тоже спустится, полпуда на лапке и пуд за душой. Даже папиросу бросил. Куда угодно, только подальше. И побыстрей.

Обогнал троих, от силы двадцатилетних. У прекрасной дамы, которая шла в середине, спина отлично поставлена,

а губы сложены еще как для соски, только помадой соску измажет. Дамины кавалеры трусили на расстоянии вытянутой руки, держали дистанцию, но и тут им, похоже, жглось, слишком высоко подскакивали и кричали тоже излишне. Юрий невольно прислушался.

– Современный воспитатель должен овладеть всей суммой знаний, я так считаю! – крикнул петушок слева. Нехорошо выдавать за свои явно чужие мысли, только запал его извинял.

– Несомненно, – поддержал его правый. – Чтобы компетентно ответить на все возникающие вопросы.

– Да они и вопросов не задают, – вздохнула дама. – Их мало что интересует.

– Но это же ирреально! – крикнул петушок слева. – Значит, надо уметь заинтересовать. Современный воспитатель должен...

Сердце избранницы на уровне педучилища завоевывается теперь широкой эрудицией и ясным жизненным идеалом. Смотри: Ушинского, Радзинского,

Бердяева, Коптяеву и Макаренко тож. Только зачем же, милые сосуны, криком кричать? И почему идеалы кончаются, где асфальт? В сельских клубах что-то не слышно вашего вдохновенного кудахтанья. Отлично поставленная спина очень бы там пригодилась...

Облегчив душу легким взрывом гражданского негодования, Юрий пошел быстрее. До спектакля оставалось еще по-



чти двадцать минут. Давно, собственно, ясно, что он и сегодня кончит театром. Хоть из зала посмотреть, как все люди. От начала до конца. Это удается редко: если сам не занят, обязательно – репетиция.

Через служебный вход Юрию идти не хотелось. Встречать общее удивление, почему так рано, и расспросы о швейной фабрике. И еще раз видеть на стенке приказ директора.

После Сямозера прошло уже три недели. О поездке теперь вспоминали с юмором. Как об историческом курьезе. Только дядя Миша все объяснялся: «Может быть, ты и прав. Наверное даже прав. Но ты нас тоже должен понять: такой конец маханули – и вдруг уперся. Один, главное! Нет, ты, возможно, очень прав, но только пойми...»

Объясняет, словно винится.

Только вчера утром, наконец, директор разразился приказом. Много там всего понаписано, Юрий даже не все запомнил. Но суть схватил. Суть была грустной: из его зарплаты будут теперь высчитывать полный сбор сямозерской площадки, сто десять рубликов. За безответственный срыв выездного спектакля. Значит, придется отказаться от путевок. Как говорит театральный сапожник, счастливый отец пятерых детей: «Мне по карману только южный берег Векш-озера». Это как раз под городом, полчаса на автобусе.

Но есть же и другой вход, через колонны.

Раз в жизни можно и билет купить в собственный театр. Раствориться и взглянуть действительно со стороны. Даже

полезно. Смушала только Сима Никитична, кассирша. Женщинам Сима Никитична отрывала билеты не глядя, вяло и незаинтересованно подгребала деньги, сдачу брезгливо отталкивала. Но на мужской голос Сима Никитична пронзительно взглядывала, улыбалась и живо вырывала срединку. Она любила мужчин абстрактно и бескорыстно. В доме у Симы Никитичны мужчин никогда не водилось, дочка была приемная, и у дочки – еще дочка, так уж сложилось. Если бы Симу Никитичну, кассиршу, попросили написать транспарант для демонстрации и она бы умела выразить, что думает, Сима Никитична написала бы: «Мужчина – двигатель прогресса».

На площади перед театром стоял памятник Просветителю. Просветитель звал вперед человечество с высокого пьедестала. Просветитель был известный, в прошлом веке он много сделал для города и даже, кажется, был головой. Этого Просветителя Юрий даже проходил в школе, очень известный.

Сейчас возле Просветителя была толчея. Мимо него бежали в театр и уже опаздывали. Чем реже ходишь в театр, тем сильнее ощущение, что опаздываешь. Юрий бывал здесь достаточно часто, чтобы уверенно не торопиться.

Он завернул за Просветителя и тут увидел девчонку. Она стояла посреди площади, как волнорез. Ее обтекали. В опущенной руке она некрепко держала лишний билет. Вот и все. Она его никому не навязывала. Даже не предлагала. Просто

держала. Не было в ней никакой торговой активности. И народ, конечно, утекал мимо, к кассе. Билет с рук в провинции вообще не привыкли брать, это тебе не Москва-столица, где с пиджаком оторвут за три квартала. Раз билеты есть в кассе, шансов у нее никаких. А билеты, увы, есть.

Девчонка медленно переместилась в пространстве, приблизилась к театру и остановилась на нижней ступеньке. Ей было наверняка уже за двадцать пять, но она была именно – девчонка. Худющая. В длинных туфлях из искусственной зебры. С прямыми и дикими волосами, небрежно брошенными вниз с головы. Волосы вдобавок были еще перехвачены детской косой ленточкой. Она стояла на нижней ступеньке и все-таки возвышалась даже над мужчинами. Юрию нравилось, что она не сутулится. Круто прорезанные глаза ее бесстрашно, даже с некоторым презрением глядели на мелких мужчин, шмыгающих мимо нее к театральным дверям; на мелких, измельчившихся женщин. Юрий успел заметить, что на женщин высоких она взглядывала доброжелательно. А за одной даже повернула голову. Хотя лицо ее оставалось бесстрастным.

Билет она уже сунула в карман. Видимо, решила, что дело безнадежное. Подходя к ней, Юрий еще прикидывал ее рост. Применительно к своему. Она казалась даже чуточку выше, но это просто обычный обман зрения, известное дело. На пару сантиметров Юрий все-таки ее обогнал, неловко она не будет себя с ним чувствовать. Это ему почему-то

было приятно.

– Продаете? – сказал Юрий.

Он ожидал ершистости, которая, разумеется, скрывает мягкую душу, но уже как-то и поднадоела, стала современным кинококкетством, И обрадовался, когда она просто улыбнулась ему из-под диких волос:

– А вам нужен, да?! Только он дорогой...

Видно, Юрий непроизвольно сделал движение, потому что она торопливо добавила:

– Это все равно, что дорогой. Неважно. Я его даром отдам с удовольствием, все равно пропадет ведь...

– Я богатый, – успокоил ее Юрий. – Давайте знакомиться.

Все-таки целый вечер рядом сидеть.

– Лидия, – сказала она. И быстро пошла к подъезду.

Блестящее имя легко колыхалось за ней невидимым шлейфом. Юрий шел осторожно, чтобы не наступить.

Гардеробщица Верещагина, Софья Гавриловна, Уже все заметила. И расценила как тонкую конспирацию. Понимающе кивнула Юрию и сразу отвернулась. Уж Верещагина Софья Гавриловна не выдаст, будь спокоен. Удивилась выбору Юрия. Одобрила этот выбор как каприз гения. Насквозь ее Юрий видел. Гардеробщица Верещагина жила добродетельной жизнью: любящий муж, сыновья-лоботрясы, квартира в микрорайоне. Но что-то в Верещагиной Софье Гавриловне будто все время рвалось сквозь добродетель. Искра ее пробивала. Греха ей не хватало, гардеробщице Вереща-

гиной. Порока. Поэтому она покровительствовала любому чужому. Понимала и одобряла. Вот уж как хорошо к Наташе относится, а сейчас даже довольна. И никакой сплетни не пустит, гардеробщица Верещагина не такая. А просто довольна. Юрий усмехнулся, подумав, что у них в театре самая аморальная личность, наверное, это Верещагина Софья Гавриловна. Не в делах, так в мыслях.

Лидия за это время успела купить программки. Себе и Юрию. Так быстра и самостоятельна. Боится, что Юрий возьмет на себя роль кавалера на один вечер. Вынужденно возьмет. Сочтет себя обязанным взять. Будет поить ее теплой газировкой в буфете и придвигать бинокль к ее локтю. Это ей унизительно – на один вечер. И она ощетиливается заранее.

Без пальто Лидия казалась еще выше, дураки оглядывались. Держалась она хорошо, не обращала внимания, туфли из искусственной зебры твердо стояли на театральном паркете. Но усилие в ней Юрий все-таки чувствовал. И заметил, что она избегает зеркала.

Все время она себя пересиливала.

Юрий вдруг представил ее у моря. На пляже. Где все просто и свободно. Лидия тоже свободна, она может медленно входить в море, дрожа и взвизгивая от набежавшей волны. Но она бросается сразу и плывет мужским кролем. Это хорошенькие девчонки могут взвизгивать и дрожать. У них всегда есть жалельщики, и смотреть на них всем приятно. Как

они брызгают круглой ладошкой на розовые коленки. А Лидии нужно сразу входить. Чтобы думалось со стороны: вон какая – длинная, некрасивая, зато характер!...

– Вы бывали на море, Лида?

Очень светский вопрос для театрального фойе. Далось ему это море, к морю он равнодушен, чтобы не сказать больше.

– Нет, – сказала она, не удивившись. – Красиво, наверное!

– Ерунда. Как в бане. Вы где работаете?

И тут же испугался встречного вопроса. Врать не хотелось. Правды тоже не скажешь. Смешно представляться актером в собственном театре, другого в городе нет. Да и вообще слово «актер» вызывает повышенный интерес и только мешает дружеским контактам. Некоторые барышни до сих пор считают, что раз «актер», значит должен тащить в подворотню. В крайнем случае – ресторан. Или сразу вскипают интеллектуальные вопросы: много ли пьет Смоктуновский и кто муж Борисовой?

– А вы? – сказала она быстро.

– Артист, – сказал Юрий.

Она засмеялась шутке. Круто прорезанные глаза ее взглянули на Юрия с не очень даже понятным одобрением.

– А я еще нет.

Теперь он засмеялся. Поговорили.

Спектакль, насколько понял Юрий, был закуплен каким-то заводом. Знакомых, к счастью, не было. Раза два кто-

то оглянулся, но Юрий был занят разговором с дамой. Очень занят. Не видел и не слышал.

Они вошли в зал.

Места были в пятом ряду, слишком близко для Юрия, раньше не догадался взглянуть на билет. Своим лучше садиться подальше, чтоб случайно не сбить актера на сцене знакомым лицом.

Ничего, один раз сойдет. Подумаешь, король в маске, римские каникулы. А сейчас подскочит помреж и скажет, что надо срочно заменить ночного сторожа из второго акта, у кого-то растяжение жил или теща при смерти. Вот и «вся ингогнита».

– Вы сюда часто ходите? – спросил Юрий, чтобы укрепиться в чувствах простого зрителя.

– Часто, – кивнула Лидия. – Очень.

Зачем-то она сказала неправду. Впрочем, ее дело. Пове- рить все-таки трудно: Юрий занят почти в каждом спектак- ле, должен бы примелькаться постоянному зрителю. Плюс телевизор. Может, она просто лиц не запоминает. Спросить для смеха: «Скажите, вы не встречали такую фамилию – Ма- зин?» – «Где, на заводе?» – «Нет, например, в программе». – «А я не смотрю никогда, что там за фамилии. Не все ли рав- но. Играют и играют». – «Напрасно, говорят, очень прилич- ный актер». – «Ах, оставьте! Все приличные давным-давно у Товстоногова. Какие тут могут быть актеры, даже смешно». Это, правда, уже не с Лидией разговор, но вполне возмож-

ный. С собой.

Хорошая попалась соседка, необразованная. По фойе, значит, мало ходила. Для некоторых табуниться в фойе во время антракта – первейшее удовольствие. Ходят по кругу, вцепившись друг в дружку, отражаются в зеркалах, изучают актерские лица по стенам.

– А вы? Часто?

– Как вам сказать, – затрудняется Юрий, даже не сразу сообразив, о чем она. – Случается.

Дали третий звонок.

Зал лихорадочно завозился. После третьего звонка и до подъема занавеса любой зал ведет себя как один гигантский бронхит, кажется, что в городе эпидемия. И сейчас. Кашель, сморк, скрип кресел и конфетное шарканье угрожающе нарастают. До чего ж тяжело человечеству сосредоточиться даже на полтора часа впрок. Непостижимо, как оно родило шедевры.

Хитрая штучка зал. До первых реплик ничего не поймешь, и прогнозам не поддается. Зато как на сцену вышел и зал на тебя дыхнул через рампу, все уже знаешь, прямо шерстью чувствуешь. Есть флюиды или нет сегодня флюидов. Струятся или не струятся. Будет спектакль сегодня приподнят и легкий. Или придется везти его на себе, как воз, всхрапывая и кряхтя перед странно осовелым залом.

Что-то сказала Лидия, Кивнул, хоть и не расслышал.

Занавес трепыхнулся, но опять стал. Опаздывают.



Сейчас за кулисами последняя толкотня. Мрачный пожарник бдительно путается у всех под ногами, карман у него оттопырен, кажется, что в кармане пожарника портативный огнетушитель и километр шланга. А там всего-навсего толстое яблоко, пожарник их любит. По всем закулисным этажам несется прокуренный голос помрежа, бывшей балерины. Предсмертный какой-то перед каждым спектаклем голос, от которого лениво вздрагивают шахматисты в актерском фойе, не занятые в первом акте, и дребезжат стаканы в буфете. Даже глухому парикмахеру вдруг начинает казаться, что где-то за стенкой негромко разговаривают...

Юрий откинулся в кресле, память привычно подсказывала:

«Верховые, тринадцатый штанкет вниз! Где грация Артаровой? Парикмахер, срочно спуститесь с усами! Юрий Павлович, приготовьтесь к сцене в кафе! Реквизит, реквизит, телефона нет на месте! Уберите дуру! Дуру, говорю, уберите! Даю круг, товарищи! Вадим, снимай зрительный зал! Музыка вступления!»

Начали.

Сегодня работал другой состав, и фамилии, конечно, были другие. Но какую-нибудь дуру – гремучую змею или собственные валенки реквизиторши наверняка забыли на сцене, без этого не бывает. Реквизиторши все заочницы или влюблены по уши, трудно девочкам. Тринадцатый штанкет всегда заедает. Глухой парикмахер, который когда-то учился У са-

мой Марии Александровны Гремиславской, всегда опаздывает с усами, ори не ори...

В директорской ложе мелькнул замшевый рукав. Юрий скосил глаза. Мелькнула знакомая щека и скрылась в глубине ложи. Так и есть – Лорд. Тоже смотрит, благо Хуттера нет.

В прошлом году Хуттер пригласил его из Ленинграда на разовую постановку. Фамилия мало кому говорила: Шуров. «Да? А где же Рыкунин?» Но он приехал, и все сразу увидели. Порода. Бомонд. Лорд. Хоть и молод. Знакомясь с очередной актрисой, он говорил: «Это для меня волнительное знакомство». Кто-то встретил его на почте с французской книгой. Кто-то вспомнил, что это вовсе и не фамилия, просто псевдоним, а сам Лорд чуть не графской династии. Нет, но из старой театральной семьи, это уж точно. Его даже в Брно приглашали на постановку. Почему в Брно? Неважно.

Все эти пенки Юрий обычно пропускал между ушей, но, впервые услышав Лорда на обсуждении спектакля, он вспылал почти влюбленной завистью. Как артист к артисту. Хотя по-человечески это мало располагало, честно сказать, Хуттеру видней. Но выступал Лорд блистательно. Вместо «дрянь дело» он говорил «негативный эффект». Вместо примитивного «нечего тут играть», как Юрий бы ляпнул, Лорд выдал совсем уж умопомрачительное: «актеры ставятся автором в такие условия, когда личность их не может быть выражена обычными средствами с максимальной полнотой и выразительностью». Юрий тогда засмеялся от удовольствия и шеп-

нул Хуттеру: «Хитрый мужик. К людоедам можно послать, обратит. Но противный». – «Не торопись на рать, Юрий Павлыч». Стекла пенсне хитро взблеснули на крепком носу.

Словом, слухов тогда хватало, и все рвались к Лорду в спектакль. А после первых же репетиций к Хуттеру в кабинет завалилась целая депутация. Почти со слезами на пожилых глазах. «Виктор Иванович! Это же безобразие! Как он работает! Вы бы только послушали! Он же как на псарне». – «Очень интересно, – сощурился Хуттер. – Это как жа?» Ему показали в лицах. Витимский кричал за Лорда, очень похоже: «Значит, так. Здесь этот чувак любит чувиху. Ясно. Разошлись! А тут ее он бьет. У автора это за сценой, но мы сделаем на. Сейчас женщин бить модно. Пробуем!» У Витимского скула прыгала от возмущения. Хуттер сказал: «Понятно. – Подумал и еще сказал: – Все-

таки за моим широким крестьянским лбом не укладывается, чего вы все так испугались? Идите пока и работайте с режиссером. Там посмотрим». – И выпроводили депутацию. Долго еще по театру ползло роптание: «Это же не Лорд, а какой-то биндюжник». Юрий следил со стороны, он не был занят.

Спектакль у Лорда вышел весьма приличный, все признали. А пьеса, надо сказать, была дрянь, один Лорд за нее и стоял, находил достоинства, зажигал массы. Сумел-таки зажечь. Только потом, когда уже отмечали премьеру, разоткровенничался за столом: «Пьеска-то, между нами, того... недо-

статочно персонифицирована...» – «Как вы сказали?» – не понял заслуженный артист Витимский. «Помет, – говорю, – пьеска-то, – грациозно уточнил Лорд. – Да к тому же птичий».

Так он и прижился в театре Лордом. Работать с ним даже понравилось большинству, привыкли. Лорд уже три спектакля у них поставил. Опять, значит, Хуттер пригласил...

– Эх, он же ж ее как любит, а она же ж! – Сзади, в шестом ряду, переживали.

Юрий позавидовал непосредственности. Как в ТЮЗе. «Ой, дяденька, не ходи за тот угол, там тебя хулиган стукнет!» В ТЮЗе – понятно. А здесь просто замедленное развитие. И жалко и завидно.

– У Клавдии точно вот так же, – жарко шептали сзади. – Она ему тоже вот так говорит... А он ей обратно...

Хорошо это или плохо: «У Клавдии так же...» Принято думать, что хорошо. Как в жизни. «В призьме бытовизьма», как сказал поэт. С одной стороны, конечно. Но с остальных трех? Не в храме искусства побывали, а просто заглянули еще в одну коммунальную квартиру. Все, как у нас. Торшер. Многотомник. Раковина на кухне и спусковой крючок в клозете. О, как гудит! На весь зал. Бытово. Хоть и опоздало по смелости лет на десять. Еще одна Клавдия. Еще один муж Вася. Только на сцене он не монтер почему-то, а химик, на кругозоре, впрочем, не отражается. Хотя иногда он смутно грезит формулами, они проплывают по заднику, загадочные,

как надписи на марсианских заборах, проекция...

Первые картины Юрий смотрел вполглаза. Что там ни думай, а работать надо. И этот химик как раз его, Юрия, работа. И в пятой картине у него полный провал, он знает, и Хуттер знает. Чепуха – все знают, просто делают вид. Дырка – она далеко видна. Зрителю незаметно, но Юрию эта сцена отравляла весь спектакль. Поэтому даже сейчас, из зала, Юрий ждал и боялся пятой. Там от него героиня уходит, ему бы потерять голову, ослепнуть от горя, а хочется махнуть ей платочком: «Счастливо! пока!» Ему наплевать, что уходит. Наплевать – вот в чем загвоздка. А сцена-то узловая.

Пятая уже скоро.

Героиня была сегодня Ляля Шумецкая. Хуттер ее из Калуги переманил. Можно сказать – украл в разгаре сезона. Как увидел на сцене первый раз, сразу сказал: «Ого! Ты только послушай ее голос. Это же даже не человек. Это же поле. Васильки во ржи. Девятнадцатый век. Глубокая пахота». – И украл. Была в Ляле Шумецкой этакая голубая распахнутость ресниц, странная для горожанки. Но не настолько, Хуттер просто увлекся. На новом месте Ляля сначала гробанула две роли. Но Хут-тера это не охладило: «Грозу» надо на нее ставить – прогремим». – «Не вытянет, – усомнился Юрий. – Дубовата, хоть и воздушна». – «Глупость еще никогда не мешала актеру, – сказал Хуттер. – Был бы талант».

Он бы поставил. Уже даже начали. Но тут Ляля Шумецкая сама подкачала: вдруг заболела, потом в декрет ушла, роди-

ла дочку, опять болела. Только недавно снова появилась в театре. Видно, Ляля перележала по больницам, перескучала там, и теперь она сообщала всем радостно: «Что было! У меня же ножками вперед шла! А потом еще сразу грудница!» – и смотрела на всех счастливыми и встревоженными глазами. Юрию она тоже сообщила при встрече: «У меня грудница была». – «Правда? А у меня нет, – глупо пошутил Юрий. Тут же устыдился и сказал: – Теперь тебе – только держись. Туго придется». – «Боюсь, Юрка! – Ляля всплеснула руками. – Как первый раз выхожу на сцену. Поверишь, руки не слушаются. Ведь такой перерыв – прямо страшно!» – «Ничего, – сказал Юрий. – Ты быстро наработаешь. Зато девка есть». – «Еще бы! – вся засветилась Ляля. – Три восемьсот родилась».

Сегодня Ляля очень старалась. Но в форму она еще не вошла, нет, еще далеко до формы и до «Грозы». К тому же в этом спектакле у Ляли Шумецкой был ввод. Смешно чего-то требовать, если ввод. Это когда тебя вталкивают в готовый спектакль на замену. Почти без репетиций. И ты скачешь на сцене, как пятнистая гну по горящим лианам. Партнеры вокруг лопочут привычно и беспросветно – для тебя. Ты в спектакле чужой, и в горле у тебя стынет очередная реплика. И ты даже не знаешь, куда ее сунуть. Вдруг вроде подходящий просвет в лианах. Ты туда – бе! – реплику! Не попал. Не так. Не туда. Действие утекает куда-то мимо. Партнеры тебя презирают. Выхода нет.

Вот это ввод. Юрий по себе знал. Каждый это знает на собственной шкуре, без вводов в театре не проживешь. Так что можно было только сочувствовать Ляле Шумецкой.

Пошла пятая.

Решающий момент. В Юрии привычно напряглись мышцы, он завозился в кресле, Лидия удивленно оглянулась. Провальный момент. Он стоит спиной у окна. Она собирается его покидать.

– Больше ты мне ничего не хочешь сказать? – сказала на сцене Ляля Шумецкая, голос ее стлался и подползал к ногам Юрия. Юрий глухо стоял у окна, спиной к ней. – Я уйду, – сказала она.

Перенесла чемоданчик к порогу. Поставила. Бросила сверху сумочку. Шарфик. Теперь плащ, с вешалки. Рванула, тоже бросила. Нет, плащ она наденет. Никак не попасть в рукава. Нет, она его наденет. Вот. Надела.

Он не хотел даже оглядываться. Незачем. Все-таки оглянулся.

Она пыталась застегнуть плащ. Белые пальцы ее неловко цеплялись за пуговицы. Срывались с них. Снова цеплялись. Беспомощно и слепо. Пуговицы – большие, светлые, странно-холодные – ломались под ее пальцами. Как лед. Пальцы слабели.

Юрию вдруг стало страшно. Он вдруг забыл, что там дальше по пьесе. Теперь он просто не знал, что там дальше. Он только видел – сейчас.

Юрий видел:

Она не уходила. Она... тонула.

«— Куда ты пойдешь?!» – крикнул Юрий, его рвануло через всю комнату от окна, ногой он оттолкнул от нее чемодан...

Юрий вздрогнул и дернулся в кресле. Пятый ряд. У самого бокового прохода. Впереди бордюр незнакомых начесов. Рядом прямые и дикие волосы по имени Лидия, Нет, к счастью, это крикнул Герман Морсков на сцене, сегодня его очередь.

Но тело ломило, будто его только что рвануло через всю комнату. И собственный крик медленно замирал в перепонках.

Наконец-то смена картин.

Больше смотреть нельзя. Сегодня – не нужно, только собьешь впечатление.

Юрий наклонился к Лидии.

– Простите, я совсем забыл...

Быстро поднялся, в темноте ощупью побежал по проходу, хорошо, хоть проход изучен, в «Бане» тут бегали. Выскочил в фойе. Успел. Вот тебе и Ляля Шумецкая. Какие же пуговицы у Наташи? Да, такие же. Белые, странно-холодные. Кромка льда. Надо, чтобы Наташа тонула. А не собиралась на дачу. К другому. Он тут еще ни про какую дачу не знает, вот главное. Он не знает. Она тонет. Тогда все ясно.

Юрий, почти на цыпочках, пересек фойе. Скрипучее, как



изба. Глянул в темное зеркало. Бр-р! Глубоко. Мельком тронул себя за рамку. Висим. Вышел к лестнице.

На лестнице, прямо на ступеньках, сидела уборщица Аня Бутырова, пожилая, а все как-то «Аня». Лицо у нее было несчастное.

– В мужском туалете опять унитаз побили, – сообщила Аня несчастно.

– Психи. Чем они ухитряются?!

– Башкой, – убежденно сказала Аня. – Больше нечем. Бандиты, хулиганы! А еще называется – зритель!

– Не переживай. Заменят, раскошелются.

– Заменить все можно, – горько сказала Аня Бутырова, – а зал никому не болит, вот чего. Сами и виноваты. Все кричат: ссена! ссена! А чего – ссена? На ссене всегда порядок, чисто, метёно. Зал, перво-наперво, надо глядеть. Зал да туалеты.

– А чего, правда, сцена? – сказал Юрий. Но уборщица Аня Бутырова не приняла шутки.

– Куда директор глядит? Бабы, вместо чем убираться, тоже на ссену смотрят. Спектакль им, тьфу. А портьеру порвали в четвертой ложе, это как? А с люстры полгода не вытерто, пылица тучей летит, это кому? Унитаз побили, никому не болит...

– Шла бы и ты в зал, – сказал Юрий. – Там жена от мужа ушла, очень интересно, честное слово. Отдыхай и плюнь.

– Еще чего! Отдыхай! Выдумашь! – задыхнулась Аня от такого кощунства. – Да если б не Анька Бутырова, грязью бы

заросли! Весь твой театр бы зарос!

– Кто же сомневается. Зарос бы.

– То-то, – сказала Аня и встала.

Это ее успокоило. Можно снова делом заняться. Аня Бутырова проводила Юрия к выходу и закрыла за ним.

Когда Юрий добрался домой, Наташа уже уютно Устроилась и читала. Как всегда, лежа. Свет падал на нее сбоку мягким крылом. Теперь актеров частенько набирают по принципу незаметности. Особенно, впрочем, в кино. Чтобы не выделялись. Как все. Человек массы, очень удобно для современных пьес. А Наташа сложена еще в старых добрых традициях. Под классическую Джульетту, Хуттер недаром ставил.

Юрий обрадовался, что она есть.

Наташа улыбнулась, захлопнула книжку, сказала:

– В эпизоде мясной лавки Антуан развешивал по сцене куски настоящего мяса. Представляешь? Картошка, кстати, еще горячая.

– Потом, – сказал Юрий.

Щурясь на мягкий свет, она сообщила:

– Как заметил Эрик Бентли, о Шоу можно сказать то же, что Шоу сказал как-то о Диккенсе...

– Ага, – кивнул Юрий, сбрасывая с себя пальто, снег, улицу. – Я так и думал. Что же, если не секрет?

– Неважно. Да и забыла уже.

– Понятно.

– Читаешь и чувствуешь себя коровьей травой. Будто и семь классов никогда не кончала. Даже жутко.

– А ты не читай теоретиков проклятого Запада. Ты пере-

ходи на наших. Пересказ «Иркутской истории» тебе, надеюсь, еще под силу?

– Я серьезно, Мазини.

– Я тоже, – сказал Юрий. – Как сообщил мне сегодня один сопляк: чтобы быть актером, надо овладеть всей суммой знаний. А мы почему-то не овладели. На плите картошка?

– Уже на столе.

Пока Юрий без интереса глотал, Наташа рассказывала, как принимали на швейной фабрике. Хорошо принимали, он так и думал. Ни слова о том, что сбежал. Это Наташа молодец, никогда потом сцен не устраивает, задним числом.

– Сбоева расчувствовалась. Благодарила. Значком меня оцарапала – целовала, вот до чего...

– А Хуттер сказал что-нибудь?

Сразу сообразила, о чем.

– Сказал: «Совсем ушел? Ну, я так и думал.

Будем надеяться, что не заблудится». Все.

– Немного.

– Достаточно. Остальное тебе завтра директор скажет, – не удержалась Наташа. – Еще что-нибудь высчитает.

– Надоело одно и то же читать, ты пойми. Стыдно уже. Надо хоть что-то новое подготовить, раз к людям ходим.

– Вот и подготовь, – сказала Наташа. – Только – когда? Мы же не концертная группа. Мы же театр. Ночью, что ли, готовить?

– Юрский тоже в театре работает, между прочим.

– Сравнил. Там же совсем другое. Ритм другой.

– Вот именно, – подтвердил Юрий. – Другой внутренний ритм. Там время даром не тратят.

– Чего тебя дергает в последнее время?

– Сам не знаю. Просто вечер какой-то дурацкий. Эта фабрика. Потом на телеграфе в очереди стоял, стоял...

– Маме?

– Конечно. Потом – в контору, смотрел первый акт. Подвинься.

Юрий улегся с краю. Мягкое крыло света приятно щеколало лицо теплом, удачную лампу купили, на редкость.

– И как у них пятая? – встрепенулась Наташа. – Представляю, как Ляля Шумецкая сейчас может провести. Сама репетирует, а внизу коляска стоит, у входа. Девчонка орет в коляске, аж вахтеры выскакивают. Какая работа!

Вместо понятного сочувствия Ляле Юрий уловил в Наташином голосе только раздражение. Это резануло. Торопился домой, обсудить вместе пятую, а сейчас сразу расхотелось говорить. Но он все-таки сказал, уже без запала:

– Ты, оказывается, не так уходишь...

– Я? Это новость. А ты?

– Я бревно. Но ты тоже не так уходишь. Сегодня понял.

– Я правильно ухожу...

– Ладно. Давай лучше утром.

Юрий прикрыл глаза.

– Это тебя Шумецкая убедила? Интересно...

Он не ответил. Щелкнуло. Теплый свет на лице погас. В темноте Наташа сказала с неожиданной горячностью:

– Трудно же будет! Сама же взвоят! Сколько времени уже потеряла, и еще впереди!... Прямо не понимаю, зачем она завела этого ребенка. Сейчас. Можно же подождать... Не уйдет же.

– А зачем тебе понимать? – сказал Юрий. – Это же ее дело. Помолчали. Правда, что ли, заснуть...

– Нам только завести не хватает, – сказала вдруг Наташа. Вот она о чем думала. – Может, удивим мир?

– Это, пожалуй, для нас пройденный этап, – сказал Юрий, помедлив.

– Но ты же хотел Розку?

– Это давно было, – сказал Юрий.

Правда, давно. Еще в другом городе. В первый год. Наташа тогда приехала, и ее подселили к Юрию, в квартире были две комнаты. Он просил, чтобы мужика, но вдруг появилась новая актриса, и другой квартиры просто не было. Так им повезло сразу.

Наташа тогда еще возражала как раз против Розки. Смеялась: «Куда нам такое претенциозное имя? Давай уж прямо Дарья. Или Виола, Виола Мазини, дитя искусства. Очень смешно». Так и не договорились. Еще шесть месяцев впереди было, могли бы успеть. Юрий в тот раз что-то рано стал волноваться: за шесть-то месяцев Наташу он уже в магазин не пускал, чтоб не надорвалась, таща двести граммов масла

и батон. Сам, как последний дурак, стоял в «Детском мире» перед колясками, приценился. И даже выбрал первую куклу для Розки, не купил, правда.

Наташа в тот вечер рано пришла с репетиции, веселая. А у Юрия был свободный день, отгул, что ли, уже забыл. Она ввалилась в квартиру, веселая, бросилась на диван и объявила оттуда:

«Мазини! Утвердили „Джюльетту“. Сам Хуттер сказал. Будет ставить».

«С кем? – сказал Юрий, и что-то в нем покатилося. – С тобой?»

«А если не со мной, значит, с Риточкой Калинкиной. Ждать он не будет».

«Значит – с тобой, – сказал Юрий. – Поздравляю». – Все в нем мутно катилось куда-то, даже курить было противно.

«Но что же мне делать? – закричала Наташа и села. – Ты же сам понимаешь: через три года никто мне Джюльетту не даст. Сейчас или никогда».

«Понимаю, – сказал Юрий. – Не кричи, тебе вредно».

Тут Наташа заплакала. Она плакала и говорила сквозь слезы:

«Тебе что? Больше нравится работать с Риточкой Калинкиной? Прости, я сама не знаю, что говорю. Мне плохо. Мне так плохо! Именно сейчас он берет „Джюльетту“. Как нарочно! Я не могу отказаться. Я себе всю жизнь не прощу. Я о ней вот с таких лет мечтала, ты же знаешь. А это мы же с

тобой еще успеем. Мы же всегда успеем, правда? Мы же молодые еще!»

Юрий гладил Наташу по волосам и кивал, голос у него застревал в глотке.

А это была Розка. Так ее и не было, не судьба. Хорошо хоть не приволок куклу. Все правильно. О «Джульетте» столько было рецензий, на целую биографию. После нее и Хуттера начали двигать, Упомянуть с высоких трибун в первом десятке нестоличных режиссеров. И потом они все вместе перебрались сюда, в этот город...

– Хватит с меня этого счастья, – сказал Юрий. – Сын у меня есть, обойдемся пока.

– У тебя, – повторила Наташа.

– Просто сказалось, прости. – Юрий протянул руку, но она отстранилась. – Чего сейчас говорить? Мать пока работает, возиться все равно некому. Поживем – увидим.

Наташа не ответила и еще отодвинулась. Юрий закурил ошупью. Дым понесся в открытую форточку. Навстречу дыму выблескивали снежинки. Снег валил за окном, любит снег ночью идти.

– Я вдруг сегодня подумала, – медленно сказала Наташа, – что ты мне ни разу не сказал «люблю». Просто словом. За все эти годы – ни разу...

– Ты же и так знаешь. Много разных других слов говорил. Лучше.

– Все-таки это, наверное, что-то значит...



– Ничего это не значит, – сказал Юрий. – Просто я не могу это слово сказать. Да что сегодня с тобой?

– Ничего. Спи, – сказала Наташа.

Но они еще долго лежали молча. Потом Юрий все-таки заснул,

Ночью они помирились и спали, пока не разбудил звонок. Он звенел долго и беззастенчиво. За квартиру вроде заплачено. Может быть, электричество? Нет. Тоже. Значит, пожар. Юрий шевельнулся, чтоб встать. Тогда Наташа вдруг вспомнила:

– Это же воскресник!

– Какой в понедельник воскресник?!

– Не придирайся к словам. По уборке снега. Внизу объявление, нужно быть любознательным.

– Прекрасно, – одобрил Юрий, укладываясь обратно.

Прошло еще сколько-то минут. В стариковской неге. Тепло и безгрешно. Нетипичный какой выходной – никуда не надо мчаться с утра. Ни в прачечную, ни на телевидение. Только у Наташи в четырнадцать десять – радио, детская передача. «Звали Суриком сурка, дали Сурику сырка, не докушал он сырок, но сказал „спасибо“». Мораль вся сводится к этому. Когда Наташа пойдет на запись, Юрий как раз отправится на свидание, сегодня у Борьки приемный день, дожили.

Наташа все-таки встала.

Пижама ее прошелестела, как ворох листьев, Наташе идет этот цвет, цвет осенней неразберихи в запущенном парке.

Камень ее – янтарь, и сама он как янтарь, свет от нее. Может быть, только шея самую чуточку хрупка для Наташиных плеч, да это уже придирки.

Юрий вдруг удивился холодку и отстраненности твоих мыслей. Довольно мутный, однако, поток сознания.

– Как только люди всю жизнь к восьми встают,

– сказала Наташа.

– Не в два же ложатся, – сказал Юрий.

– Хорошо, если в два...

Бывает и в три. И в четыре. Ночная профессия – актер. Если спектакль труден, сразу из головы не выкинешь. Надо растить в себе ремесленника, а то от бессонницы пропадешь. Крепкого такого ремесленника, удачно сочетающего умеренность и полет. Все кругом уже порошки глотают, противно смотреть. Хотел бы он знать, кто, кроме актеров, бродит по гостям во втором часу ночи. По своим же, конечно. Давая себе зарядку спором, стихами, сигаретой, все равно чем, Или висит на телефоне в четыре утра. По той же причине. Утром, конечно, едва продираешь глаза, впритык к репетиции.

– Зарядку я все-таки сделаю, – сказала Наташа.

Юрий смотрел, как она разминается. Листья оранжево вспыхивали и потухали в его глазах, хороша пижамка. Впрочем, на Наташе случайных вещей не бывает, это не Лена. Только, пожалуйста, без всяких сравнений, гражданин барышник.

Зарядку она никогда не пропускает. Боится. Когда Наташа

впервые увидела мать Юрия, она сказала: «Какая у тебя мама красивая. Худая». Обычно Наташа чрезмерно придирается к внешности, всякое отступление от совершенства очень уж ей режет глаза. От уродства она прямо заболевает. Однажды она утащила Юрия из кинозала посреди сеанса. Уже на улице объяснила, зябко ежась: «Там же рядом сидел с такими волосатыми руками! Толстые волосы. Даже на пальцах. Меня чуть не стошнило. А челюсть! Ты заметил? Абсолютно квадратная челюсть. Надо бы в милицию сообщить. Это, наверное, убийца, честное слово». И весь день она потом ежилась.

Наташа могла сторониться человека, о котором ничего худого не знала. Но! «Белоглазый какой-то. Я ему не верю, Мазини». Умная девка, а не переубедишь. И человек тщетно ищет причину, почему его избегают. Не найдет сроду. Впрочем, частенько Наташины предчувствия как-то оправдывались.

Все недостатки Наташу коробили, кроме худобы. Худоба ее, наоборот, восхищала. Раз худая, уже значит красивая – высшая похвала. Особо Наташа завидовала худым матерям. Чьим бы то ни было. Наташина мать вдруг располнела за последние годы, и ее все разносило. Периодически Наташа сообщала Юрию убитым голосом: «Еще полтора килограмма». Мать у нее была еще молодой, очень похожей на Наташу и раньше такой же тоненькой. Наташу особенно волновало, что то же, по рассказам, было и с бабкой: после сорока постепенно превратилась в толстуху. Наташа паниче-

ски боялась наследственности. Поэтому она ходила в зимний бассейн, делала зарядку, даже опаздывая на репетицию, и все собиралась приобрести лыжи. Себе и Юрию. Хотя с его наследственностью можно, конечно, валяться з постели и глупо хмыкать, пока другие работают. Например, делают мостик.

Листья ярко рассыпались по всему мостику. Смутно шелестели, когда он дышал. Узкой смуглой полоской, на стыке пижамной куртки и брюк, дышало Наташино тело. Полоска была смешная и какая-то детская. Наташа разогнулась и одернула куртку. Тоже смешным, серьезно-детским движением. Волосы у нее расплескались.

Юрий вдруг пожалел, что Наташу тогда поселили к нему в двухкомнатную квартиру. И все у них получилось так быстро. Пожалел, что они узнавали друг друга прямо на репетициях, прямо в процессе трудовых будней, ели сосиски за одним столиком, рядом сидели на худсовете. Что уже через месяц Хуттер весело объяснял кому-то в театральном коридоре: «У них же другого пути и не было. Это же запланированное официальное сводничество». И все смеялись. И поздравляли смеясь.

Сейчас Юрию вдруг показалось, что судьба, хитро блестя стеклами пенсне, просто обокрала его.

Он никогда не стоял перед Наташиной дверью, краснея и трепеща. Он никогда не бежал к ней после работы, измученный целым днем без нее. Оглушенный внезапным сомне-

нием насчет одного ее бывшего сокурсника. Этих сомнений цивилизованный человек стыдится, но они приходят к нему в квартиру со всеми удобствами, как когда-то в пещеру. С Наташей Юрий не знал этих сомнений.

Он впервые принес Наташе в подарок не кованого идадьго в человеческий рост, однажды видел в Москве, очень давно, и шестидесяти рублей, разумеется, не было. И даже не ландыши, перетянутые суровой ниткой так, что запах в них сгущается невыносимо. Он впервые принес Наташе в подарок всего-навсего хозяйственную сумку. Он стоял за ней в очереди. Сумка была ненаша, недорогая, с широким дном, затянутым полиэтиленом. Женщины в очереди прямо стонали, как хорошо ее мыть. Как удобно. И пожилая продавщица сказала у него за спиной одобрительно: «Мужчина молодой еще, а все же внимательный, хозяйке своей облегчение сделал». И звонкий голос из очереди ответил ей тотчас: «Небось дома три ночи не ночевал, вот и внимательный». Эта сумка была нужная вещь, долго служила. Но сейчас Юрию вдруг удивительно было противно, что он ее тогда отхватил. Когда муж дарит жене чулки или сумку для рынка, это ведь не подарок. Это значит, просто заткнуть еще одну дырку в семейном бюджете и соблюсти видимость.

И тут Юрий еще подумал, весьма кстати. Что общей печати у них в паспортах до сих пор нет. И на гастролях в гостинице всегда можно ждать неприятностей, хотя по театральному списку им с Наташей и дают номер на двоих. Ерун-

да, конечно. Если бы хотел, все давно бы было иначе. Незачем. Актрисы редко берут фамилию мужа, так что Наташа все равно не сменила бы свою, звонкую, как крик горного барана в ущелье, – Артарова на скромную, Юрия. И кому это надо, условности, золотая отметка на пальце и фатальная фата. Просто вдруг накатило. «Парень с девушкой живет, мечтает познакомиться», как сказал поэт.

– Какие-то упражнения у тебя сексуальные, – сказал Юрий.

Если бы Розка тогда родилась, Наташа могла располнеть досрочно, риск, конечно, был.

– Ах, вы меня смутили! – засмеялась Наташа.

Но все-таки перестала и ушла в ванную. Слышно, как она там шуршит. Переодевается. Никогда она при Юрии не переодевается. И не расхаживает в negligje. Редкая черта для актрисы.

Всякую одежду после работы ощущаешь как театральный костюм. И мешает даже своя одежда. Хочется быть голым, тогда отдыхаешь. А на гастролях, когда месяцами все толкутся в общих гримуборных и ночлег еще часто общий, совсем притупляется чувство стыдливости. Сначала только и слышишь со всех сторон: «Отвернись», «Не смотри», потом просто уже не обращаешь внимания. Ни ты, ни на тебя. Первобытная чистота нравов.

Как-то Юрий попал в Москве на международную выставку. Было душно. Люди толкались у стендов, что тут

разглядишь, одно раздражение. Но, уже продираясь к выходу, Юрий вдруг споткнулся возле маленькой фотографии. Так ударило с нее своим. Кровным. Все очень просто: чуть смазанный фон, открытая дверь куда-то. Девушка на пороге, почти голая, в двух незначительных лепестках, и перед ней мужчина в полном параде. Он говорил что-то, она слушала. И была у них в лицах такая общая, отрешенная сосредоточенность, что дураку ясно – он не видит ее наготы, она даже не помнит о ней. Так режиссер врывается к актрисе в антракте с последними замечаниями. Или просто партнер, которого вдруг осенило, как вести седьмую картину. Юрий глянул табличку под фотографией. Там стояло: «Антракт», автора не запомнил.

Лена аккуратна во всем, но одеваться для дома она ленилась. Опять сравнения. Просто Наташа уходит в ванную, и это хорошо. Хотя после длинных гастролей и Наташа дичает. Как в тот раз с мальчишкой-электриком. Долго потом смеялась. Открыла ему, как была – в роскошной шерстяной юбке и голубой комбинашке на бретельках-ниточках. Мальчишка долго снимал показания счетчика, а Наташа рассказывала ему, как надоело ездить. На счетчике, кстати, ничего нового не было, платили перед гастроями. Юрий так и застал эту картинку, очень мило. Он объяснил Наташе на пальцах. Наташа ойкнула и убежала за шкаф одеваться. А мальчишка-электрик басом сказал Юрию: «Не беспокойтесь, молодежь сейчас ко всему привыкла». В тоне его сквозило снис-

ходительное превосходство, будто Юрий кастрат или ему за восемьдесят. Развитые мальчишки пошли нынче в электрики. С юмором.

Юрий, наконец, встал. Наташа все еще лоск наводит, долго. Закурил натошак опять, гнусная привычка. Подошел к окну. Окно не слишком замерзло. Из окна открылся Юрию двор во всем великолепии. Посредине двора две женщины в ватниках старательно разгребали сугроб лопатами. Несколько поодаль стояли трое мужчин в хороших зимних пальто. В ботинках. С серьезными лицами. В их позе сквозило вековое ожидание. Рядом лежали вакантные лопаты.

Мужчины переминались. Поглядывали на часы. Следили за женщинами. Как они поднимают снег. Как тяжело отбрасывают. Слишком близко кидают. Мужчины оглядывались на дом. Бессмысленно застывали на месте. Делали несколько шагов влево. Делали шаг вправо. Топтались на месте. Обменивались замечаниями. На подбор здоровые бугаи. Васнецов. Было больно смотреть, как они маются.

Юрий умылся. Сбегал вниз за газетой. Успел прочитать. Опять подошел к окну. Женщины все так же тяжело шевелили большими валенками. Нагребали. Отбрасывали. Мужчины держались поодаль той же скульптурной группой. Озирали дом. Топтались и мучались.

«Нет, это не Васнецов, – вдруг понял Юрий. – Это же Беккет по-домоуправски – „В ожидании Годо“. В ожидании, а не выскочит ли на вакантную лопату и трех ответственных



мужчин неосторожная домохозяйка? Нет, не выскакивала. И мировая тоска обступала ответственных мужичков от такой малочисленности воскресника. Иногда в них даже брезжило: реплика – „А не помочь ли нам?“ Реплика: „Не двигаются“. Вечная Беккетовская реплика. Реплика себе: „Ничего, не сдохнут, всем не поможешь“.

– Ты чего же мне не кричишь? А у меня что-то голова закружилась. Я в ванну легла и чуть не заснула. Так волосы промылись! Пощупай...

– Тише, – сказал Юрий, будто их можно спугнуть, там, во дворе. – Поди сюда.

Наташа взглянула и засмеялась. Волосы ее щекотали Юрию щеку. И пахли сухой и чистой травой, хотя были мокрые. Сухой и чистой травой из старого парка, в которую хорошо ткнуться носом с разбегу и быстро-быстро вдыхать, как собака. В Ивняхках осенью Юрий помнил такую траву, больше нигде.

– Только сейчас по-настоящему понял Беккета, – сказал Юрий. – Передает самый дух.

– Сыграть бы, – сразу переключилась Наташа. – Нам, наверно, и не сыграть. Не сумеем. Другое все совсем – и настрой и актерские приспособления. Хоть бы когда попробовать!

– Другое, – сказал Юрий. – Одна голова на сцене, и вся она мрачно тоскует. Помнишь, читали? С волосатыми руками рядом не можешь сидеть, а туда же, Беккета ей подавай,

разохотилась.

– Сравнил! – засмеялась Наташа. – А это разве у него, с головой?

– Кажется. Все равно. Интересно бы, конечно, попробовать. Только мне все-таки, извини за наивность, необходимо поднимающее начало. Хоть какой-то просвет, хоть намек. Чтобы кто-то внутренне сдвинулся в пьесе. Куда-то. Иначе, по-моему, проще раздать зрителям по пачке стрихнина. И все.

– Зачем же сразу по пачке?

– Искусство должно все-таки помогать жить, как ни крути, – закончил Юрий.

Получилось как-то пресно-серьезно.

– А мне ужасно иногда хочется, – мечтательно сказала Наташа, – просто поговорить с ним. Ну, по душам, что ли. Просто поговорить. Чего он сам думал, когда писал, и для чего...

– С Беккетом? – улыбнулся Юрий.

Наташа важно кивнула и удалилась в кухню.

Пока она жарила там яичницу, Юрий все крутился вокруг этих мыслей. Все бы, конечно, попробовать – для тренажа, для актерского диапазона. Но ради чего? Нужна до зарезу, давно нужна настоящая пьеса про сейчас. Которая помогла бы людям думать, чувствовать. Созреть. Мы толчемся в очередях, ставим рекорды, любим детей, считаем квадратные метры на душу, выполняем план, шепчем женщине глупые, единственные слова и ловим известия, тревож-

но тряся головами. И все это нужно выразить, не потонув в мелочах. Была же когда-то «Оптимистическая». «Дни Турбиных». «Шторм». Та же «Любовь Яровая». А иначе – зачем?...

– Бутылки надо сегодня снести, – сказала Наташа.

– Пора? – сказал Юрий. – Вот именно бутылки.

– Еще два дня жить. А жить мы не умеем, Мазини. Неэкономны. Кружок, что ли, взять во Дворце пионеров?

– Какой из тебя кружок? – засмеялся Юрий. – Только головы школьникам вскружишь, разбудишь нежелательные эмоции.

– Сама не пойму, почему я так с ребятами не умею. Скучно мне с ними. Все им, им, а они тебе – ничего, кроме глупых вопросов.

– Почему глупых? – улыбнулся Юрий. – Просто ты себя маленькой плохо помнишь, хоть и ушла вроде недалеко.

– Плохо, – согласилась Наташа, – совсем не помню.

– А я очень. У меня память вообще старческая: что недавно, я хуже помню. А детство – очень.

– А мне все кажется, – сказала Наташа, – что я только сейчас начинаю жить. По-настоящему. Все только время попусту тратила, а вот теперь начинаю вроде. Кстати, забыла сказать, нас Лорд к себе в театр приглашает.

– Вот как! – удивился Юрий.

– Вполне серьезно. Он театр осенью получает, уже утвердили главным, в малом областном.

– До нового сезона сто раз все изменится...

– Лорд почему-то уверен. Сделал официальное предложение.

– А квартира?

– Обещает. Комнату, конечно. В Ленинграде комната – о-го-го! Сам же знаешь.

– Знаю, – сказал Юрий. – Только в театр к Лорду я не пойду. Ты, конечно, как хочешь, я – нет.

– Почему? Тебя же просто не было, он с тобой еще будет говорить. Это был предварительный разговор.

– Ты не поняла, – поморщился Юрий. – Разве в этом дело? Просто я боюсь людей, которые так двоятся. Могут сказать в одном месте: «негативный эффект», а в другом про то же самое: «дерьмо, братцы». От таких людей предпочитаю держаться подальше.

– Какая же это двойственность? Если бы он сказал тут «восхитительно», а там – «омерзительно», – я бы еще поняла.

– Нет, – упрямо мотнул Юрий. – Не доверяю Лорду как главному. Не могу положиться, значит, и работать у него не хочу.

– А на Хуттера можешь? Так уж он тебя идеально устраивает на все случаи жизни?

– Хуттера я знаю. И еще мне не нравится, что Лорд, приехав к Хуттеру делать спектакль, предлагает тебе переход. По-моему, это пахнет.

– Нам предлагает.

– Нам. Все равно. Со мной, кстати, Лорд вообще не работал.

– Ты же в каждом спектакле у Хуттера занят, когда Лорд может с тобой работать?

– Все равно, Хуттера я подводить не буду. И Лорд отлично знает, что Хуттеру не сильно понравится, если он нас смазнит...

– Ах, какие мы принципиальные! – сказала Наташа. – А как же Хуттер получил Лялю Шумецкую? Он ее переманил посреди сезона. Посреди! Сколько ей документы не высылали, ты забыл? Больше года. Трудовую книжку недавно только прислали!

– Тоже свинство было с Лялькиной стороны, – сказал Юрий.

– Какой ты красивый! Девке двадцать рублей к зарплате надбавили, а она бы еще отказалась!

– Не в двадцати рублях дело. Просто с Хуттером Ляльке интересно работать.

– И это тоже, – согласилась Наташа. – Интересно, не спорю. Я сама к нему напросилась, ты же помнишь.

– А теперь хочешь сменить на комнату в Ленинграде.

– Не говори пошлостей, – обиделась Наташа.

– Я пошутил. Но все-таки Лорд не то...

– Сам же говоришь, что ты с ним не работал, – сказала Наташа, помолчала, добавила вдруг: – Пальцы у Лорда толь-

ко слишком безвольные. Незначительные какие-то, я давно смотрю. С такими пальцами главным быть нельзя. Его или там сожрут, или он сам быстро сдаст.

– Чего же мы тогда спорим? – засмеялся Юрий.

– Лучше бутылки снесем, – окончательно решила Наташа.

Бутылки они снесли и обогатились. На улице сегодня было почти тепло и мохнато, снег шлепался с проводов. Собака ждала кого-то у магазина и оставляла в снегу большие волчьи следы. Тетка вдруг рассыпала апельсины. Но, к сожалению, собрали. Апельсины в снегу – в этом, оказывается, что-то есть, пусть бы лежали на радость прохожим. Девчонка несла круглый хлеб и кусала хлеб за бок. Хлеб был мягкий, гнулся у нее под губами. Наташа шепнула Юрию:

– И я так хочу.

Они зашли в булочную. Взяли круглый хлеб, еще теплый. Но выяснилось, что хотели только глаза. Крепко наелись дома, теперь душа не принимала. Юрий хотел положить хлеб на пушистую скамейку и там оставить, но вовремя сообразил, что это кощунство, уже настолько-то он войну еще помнил.

Медленно пошли дальше.

– Ого! – Наташа взглянула на часы. – Я же опоздаю на радио.

Пришлось срочно ловить такси. Юрий на такие штуки vezучий, поймали. Забрались с хлебом на заднее сиденье. Смеялись и целовались, отлично доехали. Спина шофера при

этом сохраняла рабочее безразличие, что еще от таксиста надо?

Только когда Наташа выскочила у Дома радио и Юрий пересел вперед, шофер сказал задумчиво:

– Приятно, когда целуют. А я со своей судиться хотел...

Юрий уже думал о Борьке и ничего не спросил, к Борьке он немного опаздывал против обычного. Только посмотрел на шофера сбоку и отметил себе, что шофер удачно загримирован под Ефремова в одном из последних фильмов.

Шофер подождал немного и тогда объяснил сам:

– Из-за ребенка хотел, – он сказал прямо как в официальной бумаге: «из-за ребенка». – Да хорошие люди вот подсказали. Сейчас-то ребенок еще небольшой, шесть лет. Я отсутствую, положим. А потом ребенок, само собой, подрастет, лет до тринадцати. И в этом возрасте, говорят, ребенка всегда можно отсудить в другую сторону. Очень просто, говорят, ребенка тогда отсудить...

Юрий все ждал, что шофер хоть где-нибудь скажет: он, она, оно, но он упрямо говорил только «ребенок». Среднестатистический, ни имени, ничего. Но вот тоже любимый.

– Тут так получается. В тринадцать лет с кем ребенок живет, так ему как раз обязательно хочется к другому родителю. Думает, там лучше. И уж потом будет жить, с тринадцати лет. Спасибо, умные люди подсказали...

Всегда Юрий чувствовал бессознательную неприязнь к юриспруденции. Хоть бы эти советы, слушать и то тошно.

Если придется когда-нибудь оформлять развод, со стыда умрешь. Зачем? Ему вроде не нужно. Лене тем более ни к чему, женщине даже удобней со штампом.

Юрию все казалось, он бы почувствовал огромное облегчение, если бы Лена как-то устроила свою жизнь. В этом плане. Но она никогда не устроит, он был уверен. И всегда это будет на его совести.

– Я тогда решил: пускай уж она пока растит, а я потом отсужу. Когда ему тринадцать лет стукнет.

Значит, тоже сын. Хватит.

– В кино себя видели? – спросил Юрий.

– Это как же в кино? – изумился шофер. – В журнале, что ли?

– На артиста Ефремова вы очень похожи. Не брат?

– Не слышал, – сказал шофер. – Моя фамилия Савкин.

Юмором этот двойник Ефремова был не богат. Схожесть и возможное родство с каким-то актером его не порадовали, а скорее оскорбили. Он замолчал. А может, просто уже выложил все, что волнует. Он молча довез Юрия и молча взял деньги. Сдачи не дал. И даже не стал делать вид, будто ищет. Вообще в городе этого пока не водилось. Новая, столичная струя ударила, что ли? Или просто такая индивидуальность.



## 8

Каток перед знакомым подъездом мягко присыпало снегом. Юрий чуть не упал. Выстоял все-таки. В Борькином подъезде, как всегда, даже днем горели пыльные лампочки и пахло «ванелью». Любимый запах рябой бабы Софы, включает в себя любую гамму, кроме театральной. По утрам вместо «здравствуй» баба Софа говорила входящим актерам бандитским голосом: «В церкви-то даже нос отдыхает, ванелью там пахнет, как праздник. А тут от вас бездомьем да табачищем так и шибает, гореть будем, одно слово – гореть», – и бандитски вздыхала.

В подъезде пахло пирогами с капустой, такая была сегодня «ванель». Юрий позавидовал кому-то. Кто прибежит в перерыв, похватает с тарелки горячие пироги, скажет еще, что пропеклись плохо и лучше бы с мясом. И убежит себе. А завтра ему будет с мясом, с чем хочешь. Таков, наверное, настоящий дом, которого Юрий не знал никогда. Матери тоже все некогда было, не до пирогов.

Юрий бы научил свою Розку готовить. Обязательно. Не почему-нибудь, а просто потому, что человеку надо есть. Вкусно. Это тонизирует. И проще всего, если сам можешь себя накормить. Правда, сначала пришлось бы самому научиться. Ради Розки он бы себя заставил. Но Розка просто решила не затруднять его, взяла и не родилась.

Он встретил Лену на площадке четвертого этажа. Как всегда. Хотя поднимался сегодня позже обычного, специально, значит, ждала. Наверное, все же что-то случилось. Впрочем, она и всегда подгадывает. Больше нигде они уж давно и не видятся, только здесь, на лестнице. Несколько фраз, ни к чему не обязывающих. Чуть-чуть неназойливой теплоты. Юрий, правда, когда успевал, видел Лену еще на телеэкране. Но она-то его не видела. Нет, ничего. Судя по лицу, ничего не случилось.

– Ты помолодела, – сказал Юрий. '

Он считал своей даже обязанностью иногда говорить такое. Чтобы она чувствовала тонус и что кто-то все замечает, женщинам это обязательно нужно. Хотя обычно она только вяло усмехалась в ответ. Больше Юрий себе не позволял ничего. А хотелось. Сорвать, например, эту шапку с нее и отправить ее, шапку, куда давно следует – в лестничный пролет. Интересно, будет звук или нет. Когда долетит донизу. меховая шапка ширит ее и без того неузкое лицо. Шарфик для нее слишком ярок, прямо кричит из-под пальто. Абсолютно нет вкуса к вещам, чего нет, того нет. И Борька, конечно, должен был унаследовать, по закону подлости.

Если бы что-то случилось, уже бы сказала.

– У тебя новый шарф, – сказал Юрий.

Отметил. На большее права он не имеет, сколько раз Лена давала понять, когда Юрий еще бывал у них часто и пытался нащупать дружескую струю. Но скоро заметил, что имен-

но его дружелюбие и задевает ее больше всего. Оскорбляет. Женская психология: все или ничего, так, видимо. Глупо, но пришлось примириться. Про шарф ей никто не скажет. Женщины не любят друг другу глаза открывать на такие вещи. А Наташа поморщится, когда Увидит.

– Подарили, – " сказала Лена, и лицо осветилось.

Кажется, он не польстил: правда, помолодела. Лицо не такое усталое. Даже коричневые блестки появились в глазах, если не врет пыльная лампочка. Как раньше. Любимая работа в любимом коллективе постепенно делает свое дело. Юрий выбил ее из колеи переездом в этот город. Надежды всколыхнул, как всегда бывает. Зря всколыхнул. Из-за Лены, конечно, нельзя было ехать сюда. Не по-мужски. Но Борьку тогда он бы не знал вовсе. И потерял бы Хуттера, а это уже кровавые жертвы.

Работникам телевидения тоже не мешало бы иметь вкуса побольше, чем вобрал этот шарфик. Вечно они что-то дарят друг другу.

– Опять юбилей? Сотое заседание телеклуба юных любителей мыла?

Она улыбнулась. И Юрий, как всегда, удивился, что полные, в общем-то красивые губы могут улыбаться так бесцветно. Осталась в ней замкнутая испуганность девочки переходного возраста, на которую сверстники не обращают внимания. А она тихонько боится. Мальчишек. Пустых комнат. Дождя. Громкого радио. Юрий помнил, как уже взрослой,

уже с Борькой, она не могла пройти через собственный двор, если там играли в снежки. Была уверена, что все снежки обрушатся на нее.

Если ее приглашали на танцах, она становилась должницей. Тут же, на месте. Так верноподданно и благодарно она скидывала глаза на пригласившего, Юрий даже всегда отворачивался. Неловко было смотреть. Она, наверное, думала, что он просто ревнует. Говорила потом: «Хочешь, я больше ни с кем никогда не пойду?» А ему как раз надо было, чтоб ее приглашали, чтоб рвали ее нарасхват. Чтобы выбор его был заметен и оценен. Он даже просил Лену: «Ходи королевой. Ты же красивая у меня». Но она только улыбалась ему благодарно и верно. Юрий видел, что она чувствует себя должницей и перед ним. Он целовал ее, чтобы не видеть этой улыбки. И даже целуя, чувствовал, как ресницы ее дрожат рядом – благодарно и верно.

Впрочем, это сейчас так легко разложить по полочкам. Тогда ее беспомощность вызывала в Юрии бессильное желание заслонить ее грудью. Бессильное потому, что никто ведь не нападал. Юрий был общителен, но Лену ему почему-то хотелось тогда загородить ото всех. Раздражение пришло позже, копилось постепенно, не вспомнишь, с чего началось.

Просто он не сумел ее расколдовать. Может, другой кто-то сумел бы. Нужно, видимо, было прийти со стороны, чтобы суметь. Сделать ее уверенной. Победительной, как На-

таша. А Юрий знал Лену слишком давно, нельзя жениться на том, кого знаешь с детства. Это пахнет кровосмесительством. Поздно он это понял. Даже в разочаровании нет тогда новизны. Только уносишь с собой щемящее чувство вины, когда все уже кончено. И оно остается в тебе на всю жизнь. Будто предал сестру.

А на дружбу они потом не идут. Это уж исключительный случай, чтобы потом они шли на дружбу и давали тебе возможность дружескими заботами подавить в себе чувство вины. Освободиться.

– Все шутишь, – сказала Лена. В голосе ее Юрий не уловил привычной горечи и порадовался.

В полумраке лестницы лицо ее казалось даже оживленным. Только шарф резал глаза. И шапка. Просто счастье, что с экрана телевизора, как бы она ни была одета, Лена смотрится обаятельной. Вот кто расколдовал ее лицо – телевизор, поистине безграничны его возможности. И неистощимы секреты. Вялое, малоподвижное лицо Лены вдруг расцвело на экране. Оказалось удивительно эмоциональным с экрана. И ровный, чуть глуховатый голос вдруг набрал волнующую полноту. Юрий никогда бы этого не подумал. Пока не увидел сам. А когда он впервые услышал, что Лена устроилась диктором на телевидение, его передернуло. Она уехала от него и была уже в другом городе. И попасть сюда он не думал. Но все равно Юрий представлял ее лицо на экране и почти стонал. Будто слышал замечания зрителей и ехидные смеш-

ки У нее за спиной, на студии. Не ее это дело, как нетрудно сообразить, достаточно взглянуть в зеркало. И никто ей не скажет правды. И Юрий, один Юрий, был виноват.

Слава богу, что он сюда перебрался и хоть одна тяжесть спала с души. Увидел своими глазами. И понял, что просто не знал этого лица. И недооценивал телевидение, хоть издавна успешно подрабатывал в этой конторе. На экране у нее даже глаза делались уверенные.

Теперь Юрий уже привык, что Лена – лучший диктор. Давно не удивлялся. Только иногда ее лицо на экране вдруг рождало в нем странное желание: хотелось сорвать Лену с экрана, нет, вырвать ее оттуда, из телевизора. Так быстро, чтобы лицо не успело сменить выражения и осталось бы тем же пленительным и живым, как с экрана. На всю остальную жизнь. Иногда вдруг ловишь себя на необъяснимых порывах.

– А я посмотрела вашу премьеру, – сказала Лена. – Ты мне понравился.

– Чепуха, – сказал Юрий, чувствуя, как в нем медленно закипает непонятное раздражение, которое последнее время все чаще прихватывало его в театре. Как приступ. – Повторение собственных азов на отметку. И пьеса дрянь. Я этих театральных физиков скоро возненавижу. Особенно облученных. Как облучен, значит носитель высокой морали и общий судия. Будто нельзя быть высокоморальным, не помирая.

– Ты просто устал...

Всегда она легко переводила его тонкие духовные муки в простые физические. Усталый и больной сразу ближе. Его можно лелеять, и жалеть его сладко, как себя. Не меняется Лена.

– Может быть, – сказал Юрий уже спокойно.

– А я тебя давно на сцене не видела. Только у нас, на телевидении, это же не то. И смотрела с большим удовольствием. По-моему, ты очень вырос.

Это у нее вдруг сказалось почти важно: «очень вырос». Как мнение общественности на зрительской конференции. Когда-то Юрий очень ее просил не высказывать ему лестных мнений. Особенно сразу после спектакля. Когда близкие родственники искренне поражаются твоей одаренностью. Это не помогает работать и ни о чем вообще не говорит. Кроме того, что твои родственники трогательно к тебе относятся. Не дай бог спутать это с чем-нибудь другим, посерьезней. Всем хочется иметь в роду знаменитость, хоть медную, да свою.

А Лена никогда не умела держать при себе лестное мнение. Теперь и не к чему.

– Вырос и даже уперся, – усмехнулся Юрий.

Но она не остановилась и еще сказала:

– Я всегда в тебя верила.

Именно. На том и расстались. Вера – это прекрасно, когда в ограниченных дозах. Как всякий яд. Если дома ты окружен только безграничной верой, срочно вербуйся на Камчатку.

Лучше пусть тебя хоть чуточку поненавидят. Так Юрий считал, пройдя через веру. Слепая вера расслабляет мускулы, и в один прекрасный день вдруг обнаруживаешь, что сидишь, как муха в патоке. Тогда начинаешь рвать ноги из сладкого, жужжать и кусаться. А кругом удивляются твоей неблагодарности.

Он поступил после школы в Институт международных отношений, была такая блажь, и услышал от Лены: «Я так рада за тебя. Я так в тебя верю».

По правде – попасть туда было сложно, конкурс страшный. Попал. Выгнали со второго курса, потому что на институт просто не оставалось времени: студия отнимала все ночи, а спать и готовиться к роли тоже когда-нибудь надо. Жаль, что не из них получился «Современник». Мог бы. «Современника» не получилось, и вышибли с треском.

И Лена сказала, когда выгнали: «Я так рада. Теперь ты сможешь полностью отдаться искусству». Его чуть покорибила выпренность, но Лена не вешала носа и была рядом – это тогда было главное. Сейчас легко рассуждать и выискивать, а тогда это было нужно. И ему тоже. Он чуть тогда не сказал: «Давай, наконец, поженимся». Но что-то его все-таки удержало, может, просто девятнадцать лет. Все чисто и ясно. Все будет, все впереди. А на Лену, как потом выяснилось, жали родители. Родителям всегда надо: если торопятся – удержать, если медлят – толкнуть, без этого они прямо не могут.



Когда его вышибли из института, никакому искусству он не отдался. Ни полностью, ни частично. Просто пришла по-вестка в армию. Юрий попал на флот. Далеко. И уже через месяц Лена прислала туда телеграмму: «Я без тебя не могу выезжаю». Это, пожалуй, единственный раз, когда она поступила решительно и сама. До того как совсем от него ушла и переехала в этот город.

Лена действительно прикатила туда, и они поженились, как только было получено разрешение. Вот тут ему все завидовали, приятно вспомнить. Он был бритый и страстный жених. Все лез целоваться. Вообще лез, она даже пугалась вначале. Хотя для того и приехала.

Потом Лена ждала его в Ивняхках.

Правильно сделали, что тогда выгнали из института, какой уж из него дипломат! И еще – парень должен прослужить свое, полностью, так Юрий считал. Это мужское дело, через которое надо пройти. Для себя надо. И для других. Хорошо, если Борька это поймет в свое время. Именно в армии, пока служат, начинают сознательно любить матерей. А это мужское чувство – любовь к матери. И понимать, что такое твердый локоть, справа и слева, это тоже мужское.

А Ленины письма тех лет Юрий до сих пор возит с собой, есть такая странность. Хотя вообще письма хранить бессмысленно. Они или тянут назад, или просто занимают место. И в том и в другом случае старые письма даже вредны, не мобилизуют. Обычно Юрий уничтожал их сразу, но те,

Ленины, он хранил до сих пор. Напрасно только она никогда не скрывала, что он, Юрий, был для нее даже первее Борьки. Так безгранично нельзя доверять даже собственной ноге – подвернется. А человеку обязательно нужно иногда намекать, что он может чего-то лишиться. И намекать раньше, чем человек дойдет до того, что уже только обрадуется потере.

Какого черта она не давала ему вставать к Борьке ночью? Сейчас это так и выглядит в памяти – не давала. Как сладко себя пожалеть: он рвался вскакивать к любимому сыну десять раз за ночь и стирать ему пеленки, а Лена ему запрещала. Лишала такого удовольствия. Как все-таки приятно сорвать хотя бы себе. А ведь тогда он совсем и не рвался. Не очень-то Борька был симпатичным первые месяцы. Друзья, правда, находили какое-то сходство. Но друзья льстили, как выяснилось. Борька – копия Лены, давно ясно.

Маленький Борька ногами сучил, как паук. Бессмысленно разевал красный рот и старательно заталкивал туда красную ногу. Юрий боялся к нему даже притронуться. И слегка брезговал. Может, у других бывает иначе, их счастье, а у него было так – даже брезговал. Это побольше, к году уже, Юрий полюбил таскать его на руках и вообще – открыл. Как главное для себя. Как единственное – свое. Но тогда Юрий даже обедать домой не ходил. Чтоб не сбивать настроения перед спектаклем детским бессмысленным визгом. Это было уже чистое свинство – даже не заглянуть домой за день, но

Лена все равно одобряла. Другую это насторожило бы. Или обидело. Но Лена считала, что правильно, незачем ему заходить, у него слишком нервная работа, чтобы еще думать о пустяках. О каких «пустяках»? О ней и о Борьке?

Но ведь пока они «хорошо дружили» в школе и еще долго потом, все было иначе. И Лена была умна, Юрий тогда любил ее слушать. Она говорила много точного даже о его работе. Только все это почему-то забылось, ушло куда-то, заслонилось на все случаи жизни одним: «Я так в тебя верю!» Его раздражение Лена объясняла только работой, работа у него адова.

Время тогда было тяжелое, это верно. Он сменил несколько городов. И театров. Разумеется, в глубинке. Чему-то уже научился. Его хвалили, но это не приносило радости. Не хвалили – похваливали. И не было настоящего режиссера, это главное. Беда эта могла затянуться на всю жизнь, где его найдешь – настоящего, своего, режиссера, когда сидишь глубоко и тебя коряво вписывают в программку химическим карандашом. Сбоку, как заменитель. А Лена твердила ему после каждого спектакля: «Я сегодня чуть не расплакалась, так хорошо. По-моему, лучше всех». В любви, может быть, как нигде, обязательна доля здорового скептицизма.

Он становится теоретиком, можно уже выступать с лекциями. Наташа тоже, конечно, верит, но она верит еще и в себя, это другое дело. Только, пожалуйста, без прямых сравнений. Теперь не вспомнить, на чем он в тот раз взорвался. На-

верное, она сказала обычное после спектакля: «Ты сегодня великолепно работал!» А ему просто хотелось повеситься от отвращения к себе в этот вечер. Он попросил: «Не надо!» Но ей было до боли жалко его сейчас, такого усталого, с чужим, неприятным от крайней усталости лицом. Она горячо сказала: «Нет, ты действительно отлично работал!» – И хотела поцеловать, но он отстранился. Потому что еще не снял тон с лица, так она подумала. А он почувствовал, как изнутри у него поднимается что-то слепое и разрушительное. Горячее, как магма. Он сглотнул и сказал еще раз: «Ты помолчи пока. Пожалуйста». Но она все равно не поняла. Она только видела, что ему плохо. И что надо быть рядом. Ближе. И поэтому она сказала еще, так горячо, как могла: «Ты сегодня лучше всех работал, честное слово!» И тогда он вдруг крикнул, даже не успев испугаться: «Да замолчи же ты! Ну! Заткнись!»

И все сразу потухло.

Так это и было. Бесполезно делать вид, что этого не было. Что сейчас на площадке четвертого этажа, под пыльной лампочкой, стоит безукоризненный джентльмен и разговаривает с дамой. Он-то разговаривает, но она тоже, помнит. Как он тогда крикнул ей в лицо: «Заткнись!»

Лена ни разу не сказала ему даже «Юрка».

Хорошо еще, если он тогда крикнул так, как помнит теперь. Хорошего мало, конечно, но все-таки еще хорошо. Потому что порой Юрию казалось, что он тогда крикнул ей хуже. Страшно вспомнить, до ломоты в зубах. Юрий морщил-

ся даже сейчас, когда думал об этом. Иногда он не был уверен, что не крикнул и еще что-нибудь, похлестче.

Все равно что. Хорош. Наташа бы сразу ушла, только и видел. А Лена тогда впервые посмотрела на него так – беспомощно и прямо, взгляд он запомнил, это был для нее новый взгляд. Потом она часто на него так смотрела. Беспомощно и прямо. Как смотрела, когда вдруг сообщила, что уезжает от него совсем, в другой город, и Борьку, конечно, забирает с собой. Даже Борька не пересилил. Юрий только попытался тогда насколько можно скрыть свое облегчение, огромное облегчение, это точно.

А через полгода его нашел Хуттер.

– Как там у вас в конторе? – спросил Юрий, чтобы как-то еще проявить интерес. – Зашиваетесь, как всегда?

Лена заметно обрадовалась вопросу:

– Еще как! Мы же опять одни с Дубницким остались на все редакции, а вещания нам прибавили. Надоело, ни одного свободного вечера. Я бы на радио перешла, там куда спокойнее и давно уже зовут...

Радио ей, конечно, больше подходит. По характеру. На радио можно хоть в ночной рубашке вещать, никто тебя не видит. А на телевидении ей, наверное, каждый раз нужно сделать усилие перед выходом на экран. Другой женщине это шутя бы давалось, а ей нужно сделать усилие. Чтобы радостно взвизгнуть себя перед выходом. Причесаться еще раз. Даже просто – в зеркало лишний раз поглядеться, ее даже

это наверняка утомляет. Утомляет необходимость подбирать помаду, которая лучше смотрится. Пробовать новые бусы. То брошь, то бусы, то воротничок. Чтоб телезритель ахнул: «Как она туалеты меняет!»

Тайны экрана – другой женщине это была бы радость. В Лене Юрия всегда удивляло неумение радоваться вещам на себе, просто нет вкуса. Он представил, как она облегченно вздыхает, когда ее сменяет перед глазком великолепный Дубницкий. У этого даже ногти выхолены, для ЭКСПО он их,

что ли, растит. Юрий всегда презирал мужчин, возвращающих на себе ногти, есть в этом занятии непонятная мелкость души, почти извращение.

Радио ей по характеру, конечно, больше подходит, но она прямо создана для телевидения.

– Нельзя тебе перейти, – сказал Юрий. – Твой голос должен подаваться вместе с лицом. Обязательно.

– Все говорят, – кивнула Лена. – Нельзя.

Она кивнула с каким-то потаенным облегчением. Юрий понял ее и даже на миг опустил глаза. Собственно, он это и раньше знал. На радио спокойнее и все вечера свободны, как у нормальных людей. Но Лена никогда не уйдет с телевидения, напрасно стараются радишники. Она не уйдет. Просто она боится праздников и воскресений наедине с собой. Или даже с Борькой, все равно. Праздников, когда отцы чинят детям велосипеды, сорят в комнатах, бросают окурки не ту-

да, ходят в магазины за тестом. И потом семьи чинно гуляют по улицам, в полном составе. Или чинно идут в гости. А тут еще суббота прибавилась, целый лишний день.

Где-то за спиной вдруг шорхнуло. Юрий оглянулся. На площадке четыре двери, и все они были как будто тихи. И закрыты. И глухи к чужим мыслям. Но Юрий вдруг вспомнил слабую лапку с полпудом картошки через нее, и ему стало не по себе. На этой лестнице. В окружении любопытных дверей, которые все знают про Борьку и про Вовчика, И когда сбежал у Вовчика папа. И какую сорочку он оставил в шкафу.

– Ты ничего не слышишь? – громко спросил Юрий.

– Нет, – удивилась Лена. – А что?

– Так. – За одной из дверей легко прошелестело и замерло вдалеке. – Показалось, что мы тут с тобой не одни.

– Ты о соседях? Соседи у нас очень приличные... – Но Лена сказала излишне громко. – А ты разве знаком с кем-нибудь?

– Откуда же, – сказал Юрий.

Ему показалось, что ответ ее успокоил. Помолчали. Так долго они, кажется, никогда не стояли на лестнице. Странно. Сегодня она не торопится. Спросить про звонок...

– Ты ничего от бабушки не получил? – Мать Юрия она всегда называла «бабушка» в отличие от своей. – А я вчера получила. Виталий Акимович скончался.

– Кто? – не понял Юрий.

– Профессор Ивановский, – сказала Лена. – Это для бабушки такой удар, я прямо беспокоюсь.

Юрий представил крутое брюхо, появляющееся из-за угла на полчаса раньше всего остального, и лысину. И толстые пальцы, убирающие в толстый портфель очередную статью. И не испытал ничего. Но Лена, пожалуй, права, для матери это удар, очередная брешь в ее поколении, к этому мать стала чувствительна.

Раньше мать как-то не обращала внимания на черные рамки в газетах. А теперь обращала. И даже читала Юрию вслух: «Коллектив сборочного цеха и родные с прискорбием извещают...» Вдруг спрашивала: «Юра, почему же сначала – цех?» Ее настороженная тяга к извещениям в черной рамке тревожила Юрия. Поэтому он сказал: «Какое это имеет значение?» – и позаботился, чтобы вопрос прозвучал легко. «Для меня бы имело», – упрямо сказала мать. Она научилась нагнетать, раньше она этого не любила. «Наверное, цех просто платил за объявление», – сказал Юрий, чтобы как-то покончить с этой темой. Но мать окончательно расстроилась: «Ты думаешь? Значит, родные даже не сочли нужным заплатить?»

Но кончина профессора Ивановского все равно его не задела. Пришлось сделать усилие, чтобы стать на точку зрения матери.

– Ты напрасно так его не любил, – сказала Лена. – Он не такой уж был плохой человек...



Сказала, как мать когда-то, теми же словами.

– Какое это имеет значение? Любил – не любил...

– И не очень-то счастливый. Даже мне как-то сказал: «Приходится, Леночка, признать, что материал испорчен и используется боком». Это он о себе так.

Память подсказала Юрию голос профессора Ивановского: «Молодец, что убежал, мы все, так сказать, закопались, а ты вольный служитель». – Голос был сытый.

– Я бы поехала к бабушке, но сейчас никак. Мы же только двое с Дубницким остались на все вещание, даже говорить бесполезно.

– И незачем ехать, – сказал Юрий. – Это еще зачем? Неприятно, конечно, но не в такой же степени.

– Ты не понимаешь, – сказала Лена. – Бабушка же любила его.

В голосе Лены Юрий услышал сдерживаемое превосходство, это было ново. Смысл дошел не сразу. Когда дошел, Юрий засмеялся.

– Ивановского? Ты с ума сошла! Мать? Ивановского? Она просто его тащила за уши, как собаку из проруби!

– Сначала – просто тащила, – упрямо сказала Лена.

– Это смешно, – сказал Юрий, чувствуя, как что-то в нем рушится. – Ты не знаешь мать. Ты сама это придумала или помогли добрые люди?

Вот за что Юрий всегда эти поселки терпеть не мог: слишком замкнутое пространство, надоели они там друг другу до

белых ромашек. И галлюцинируют. Друг на друга. Забавно вдруг услышать это от Лены, в слухах она ориентируется еще хуже, чем в шарфиках, не ее это.

– Просто я помню, – сказала Лена. – Папа однажды пошутил за столом: «Верочка, да отбей ты его у Ани, и дело с концом. Ничего же тебе не стоит отбить». Бабушка с ним с тех пор не разговаривает. Уже девять лет.

– Шутка не очень удачная. Ну и что? Ровным счетом ничего не доказывает.

– Может быть, – сказала Лена.

Будто она знает больше. Но девять лет молчала и еще полета помолчит. Эта снисходительная сговорчивость сделала ее позицию неожиданно убедительной. Юрий не хотел, но почувствовал – бездоказательно-убедительной, ощущать это было колко.

Мать всегда была скрытной, заметить можно только поступки, поступков тут, конечно, не было. Н-да, ему стукнуло тридцать четыре, и он все еще делает открытия – что за человек его мать. А Борька в одиннадцать должен разобраться и все понять правильно. Очень логично. И все-таки были же рядом с ней люди. Кроме. Получше. Хотя профессора Ивановского он толком не знал, по совести – нет. Вряд ли сыскались бы россыпи, но он не знал. Теперь уже окончательно.

Надо мать оттуда вытаскивать. Из родных Ивняков. Теперь ей там совсем будет плохо.

– Я не думала, что это тебя так заденет, – сказала Лена. –

Я вообще думала, ты давно знаешь.

О том, что они с Леной разъехались, мать тоже узнала последней. Юрий и до сих пор бы, наверно, скрывал, если б не Лена, ей нужно было испить чашу до дна. Это называется – «всякая ложь мне противна, почему я должна врать даже родителям?!» Не должна, конечно. Испили.

– О чем ты? – удивился Юрий.

– Так. Бабушка пока взяла к себе тетю Аню, Ивановскую, так что они пока – двое.

– Прекрасно, что двое, – сказал Юрий.

– Пишет, что тетя Аня в очень плохом состоянии, плачет все ночи, не ест ничего, даже «Скорую» вызывали. А про себя ничего не пишет, ты же знаешь бабушку...

– А ты знаешь, – сказал вдруг Юрий, – этот новый шарф тебе не сильно идет.

Собственная бестактность его отрезвила. Потому-то у нас в «Пигмалионе», как правило, две Элизы и ни одного Хиггинса. Не то воспитание, хоть ищем другие причины.

Но Лена не расстроилась, как бывало. Она осторожно потрогала шарфик, поправила его на шее, сказала только:

– Ты считаешь? А мне нравится. – И улыбнулась ему забытой, доверчивой улыбкой.

– Главное, чтоб самой нравилось, – сказал он, чувствуя, как забытая улыбка растапливает в нем что-то.

Широкое лицо ее в нелепой меховой шапке было сейчас совсем рядом. Прохладное, крепкое лицо, без косметики.

Которое он знал, как свое. Даже лучше. Вдруг захотелось наклониться к этому лицу. Просто наклониться. И все. Может, она даже ждала этого, вдруг подумал Юрий. Она даже сейчас, наверное, еще ждет, хотя сама уехала от него в этот город. И увезла Борьку.

– Я пошел, – сказал Юрий.

– Конечно, – торопливо сказала она. – Мне тоже некогда.

Но оба они все еще стояли на площадке. Из-за Ивановского она и звонила? Вряд ли...

Да, он был бы счастлив, если бы она как-то устроила свою жизнь. Но она ее никогда не устроит. И всегда будет на нем эта тяжесть – ее одиночество. Как пышно. Она стала настолько самостоятельна, что не спешит сорвать с себя шарф по первому его слову, и все-таки это ничего не меняет.

Юрий уже сделал несколько шагов вверх, когда она сказала:

– Мне вообще-то с тобой нужно поговорить.

Вот оно...

– Нет, не на лестнице. Как-нибудь потом, дома. Успеем еще.

– Он считает, что я все-таки прихожу слишком часто? – спросил Юрий прямо. И сам почувствовал, как противно сел голос.

– Нет! Нет! – испугалась она.

– Значит, опять...

Но она перебила:

– Тоже нет. Совсем не то, что ты думаешь. И не к спеху. Это успеется. Как-нибудь.

– Хорошо, если не то.

Она все порывалась вернуться к разговору об алиментах. Обязательно она хотела, чтоб были эти клятые алименты – «чтоб все было официально, мне так легче». А не конверт, который Юрий оставлял у них на столе. Хотя в конверте всегда было больше. Но его оскорбляла самая мысль – платить Борьке алименты, будто он отказался от собственного сына и его принуждает закон. Даже думать об этом было оскорбительно. И объяснять Лене – тоже, это же просто нужно понять. Но она не хотела понять, она только твердила: «Каждый раз, когда я беру в руки этот конверт, я чувствую, что ты нас облагодетельствовал. Пусть будет официально, так нам всем лучше, вот увидишь...»

Дверь в квартиру была небрежно утыкана звонками, но ни одной таблички при этом не висело, и каждый желающий мог сыграть на любом. Юрий никогда не звонил, потому что дверь в эту квартиру была открыта весь день. Слишком много детей, чтоб запирасть за каждым, так здесь считали. Восемь семейств жили здесь суматошно и вольно. Кто как хочет. Не упирали даже на чистоту. Чистота признавалась в меру, без вылизыванья и ссор по этому поводу.

Насчет этих соседей Юрий был спокоен, слабая лапка тут бы не ужилась, ее бы съели вместе с авоськой. Или бы она всех съела – это вернее.

В коридоре здороваться было не с кем.

Все матери в этой квартире работали, все бабушки страдали радикулитом и телевизором. Понятно: свой диктор! Дети здесь сами смотрели друг за другом, как в деревне, и кухню предпочитали прочим игровым площадкам.

Удивительно, что Борька все-таки растет нелюдимом. Чего удивляться, опять в Лену. Нелюдимые привязчивей, они знают цену общению, раз общение им так трудно дается.

А Юрий раньше легко обрастал людьми, бессчетно. И терял легко, забывал адреса и фамилии. Даже Леху Баранова потерял. Как его родичи подались куда-то из Ивняков, так и Леха пропал. Тоже хорош! Тогда все казалось, что главные встречи впереди, топай и не оглядывайся. А последнее время все чаще хочется встретить именно того человека, с которым дружил в детстве и потом потерял надолго. Леху, что ли. Кажется, только он тебя и поймет. До конца. Один он. Фамилия у Лехи больно баранья, с такой фамилией разве найдешь. Да еще – без отчества, отчество тогда не котировалось, может, мать вспомнит. А встретиться на самом деле, и говорить не о чем. Скорей всего так: «Платят-то хоть прилично в вашем вшивом театре? Что? За такие деньги и девочки не работают».

Кухня раскололась визгом, Юрий даже споткнулся. В другой квартире на такой визг сбежалось бы все нетрудоспособное население. Здесь даже не почесались. Может, нет никого?

Из общего вопля вырвался острый и тонкий голос, голос-тростник. Вырвался вперед и повел:

Ехал кто-то тем! ным! лесом!

За! каким-то ин! тересом!

Ин! инте! инте! рес!

Вы! ходи! на букву «э»с!

Юрий смело шагнул в темноту, знакомо свернул, нажал плечом Борькину дверь.

Как всегда, комната поразила забытым уютом, только вышитых салфеточек не хватало. Так наши матери жили, когда приходил средний достаток. Ивняки родимые. Слегка он, может, преувеличивал, но все же. Хотя в этом уюте была своя какая-то правда, казалось Юрию. Больно уж надоели за последнее время голые стены, торшеры и причудливые корни дерев. Тот же стереотип с другого конца. Но с такой коричневой шторой Юрий бы жить не мог, уже давит на психику. И абажур на лампочке сидел низко, как тряпичная кукла на самоваре.

Книги. Книг много. Одна немецкая полка, как-никак Лена иняз успела закончить, пока он служил. Опять появились новые книги. Юрий давно уж старался не покупать. Поскольку нет миллионов, чтоб стать библиофилом. Глядя на полки во всех знакомых домах, испытываешь неловкость. Хочется ерзать на стуле. Не подходя, ясно: по корешкам, по суперам, по формату. Набор испытанный, как дорожная аптечка. И та-

кой же неизменный. Вроде прошли уже времена, когда умилял сам факт личной библиотеки. Плащи и те стали цветные носить. А книжки скучно свидетельствуют только о нашей грамотности. Не более.

– Я уж думал, ты не придешь, – сказал Борька.

Интонация была неопределенной, но во всяком случае дружелюбной. Приятно, что все-таки думал.

– Почему же вдруг не приду?

– Мало ли? – сказал Борька.

Он надул щеки и сбрызнул рубашку водой.

Борька гладил. Новое занятие. Лена молодец, приучает. Борька гладил смешно, рубашка под утюгом морщилась, рукава сползали до самого пола. Борька поправлял их, не раздражаясь. Ленина старательность. Или упрямство Юрия. Почему-то упрямство всегда лестнее, за упрямством принято подозревать незаурядную натуру.

– Я сейчас кончу, – сказал Борька без отрыва от утюга.

Уж он ее доглядит, будьте уверены. Еще клопом Борька всякое дело любил довести до конца. Велосипедный кросс до сих пор приятно вспомнить. Сколько ему тогда было? Едва ли три. Но со своим трехколесным велосипедом Борька управлялся легко, и Юрий вывел его на соревнования, вдруг их город разразился таким почином, не пропустить бы. На старте младшая группа была уморительна. Она ковыряла в носу, выискивала глазами мам, вдруг вываливалась из седел сама собой и на сигнал «вперед» не откликалась никак. То-



гда энтузиасты-родители выпихнули их под зад по сигналу. Юрий дал Борьке приличную скорость. И вся эта мошकारа понеслась, вилляя рулями и сталкиваясь. Но Борька все равно отстал сразу же, безнадежно. Он ехал самым последним и ревел на всю площадь отвратительным басом. Потом даже как-то завыл. Жал на педали и выл. Слезы сыпались на асфальт, ах, ах.

Мамы вокруг Юрия перестали смеяться и затрепыхались. «Чей мальчик? Так плачет, бедный! Разве можно давать ребенку так плакать! Это же звери, а не родители! Ребенок прямо зашелся».

Но ребенок, хоть и ревел, ехал довольно прямо. Видел еще, куда ехать. И ногами работал ровно, без истерии.

Мамы кудахтали, но никто не решился прийти на помощь «чужому ребенку», как и водится. А Юрий ждал, закусив губу. Остановится? Позовет? Свернет в сторону? Нет, Борька честно провыл весь маршрут, судьи ждали у финиша, пока он довоюет. Не сошел. Потом, правда, бросил велосипед и стукнул его ногой несколько раз. За что схлопотал от Юрия небольшой шелобан, чтоб не слишком себя жалел.

Нет, мужские задатки у него были. Живи он сейчас в нормальной семье, с отцом, летал бы с трамплинов и дрался, это парню нужно. Прекрасно, когда соседки прибегают и жалуется, что их сыночка опять побили. «Ваш побил!» – «Да? А что же ваш сдачи не дал? Учите сыночка!» В мальчишечьей среде это уравнивается, сегодня – я тебе, завтра – ты

мне, разберутся сами. А у Борьки по прилежанию пятерка. Никогда не нравился Юрию этот предмет – прилежание.

Пока Борька гладил, Юрий листал его дневник. Давненько он тут уже не расписывался. Поглядеть для порядку. Юрий открыл прошедшую неделю и убедился, что странная связь иногда бывает. Между тем, что ты только что думал, и тем, например, что увидишь через минуту. В Борькином дневнике Юрий вдруг увидел сплошь исписанные внизу поля, это редкость. Выпуклым почерком переростка, каким часто изъясняются учителя, тут сообщалось:

«Безобразно вел себя на уроке физики. Грубил классному руководителю. Устроил драку в классе. Просьба к родителям явиться в школу для разговора. Иначе не будет допущен к занятиям с понедельника». Подпись.

Такого Юрий не помнил. Перечитал. Представлен весь комплекс, о котором он так мечтал. Драка – пожалуйста. Юрий покосился на Борьку. Тихий и разноухий, Борька старательно разглаживал последнюю складку. Ткнул утюгом в палец, сморщился, засосал.

– В холодную воду нужно, – сказал Юрий.

– Не по правилам, – сказал Борька. – Третий раз обжигает. Обычно раз шарпанет, пока глажу, и все...

– С кем же ты дрался? – спросил Юрий, следя, чтоб скрытое одобрение не выпирало из голоса.

Тут Борька, наконец, взглянул на дневник, удостоил. Повесил рубашку на стул, расправил, потом ответил:

– Не поняла она. Я вовсе не дрался.

– А из-за чего? – спросил Юрий, оставив его примитивные уловки без внимания.

– Правда, не дрался. На меня один налетел, из «вэ». А я просто пошел. А тут наши парни вмешались...

– За что же он на тебя налетел?

Борька пожал плечами. Он смотрел мимо Юрия, на подоконник, где в глупом аквариуме плыла по вечному кругу глупая красная рыба. Она перестала плыть и выпукло уставилась через стекло.

Юрий уже знал, что разговор не получится. Никакая, самая даже роскошная запись в дневнике друг к другу их не приблизит, раз Борька не хочет.

Нужно было переменить тему, но Юрий продолжил:

– Значит, ты позволил, чтоб за тебя другие дрались? Парни за тебя стали драться, а ты просто пошел?...

– Они за себя, – сказал Борька.

– Ты же сам говоришь, что они за тебя вступились.

Борька кивнул. Так ему неинтересно. Что же ты можешь на сцене для всех, если так неинтересно даже единственному сыну? Только, пожалуйста, без прямых аналогий. Просто на что-то похоже... Ага, сообразил! Так сам он, Юрий, в свое время кивал профессору Ивановскому на все его попытки разговариваться. Очень приятно вспомнить.

– Может, ты еще и за учительницей сбегал? – сказал Юрий, чувствуя себя последним кретином.

– Чего за ней бегать? – сказал Борька. – Она сама пришла.

Услышала, как орут, и пришла.

Кажется, не обиделся. Не понял. Пронесло.

– Что же, ты не мог ему сам дать по шее, раз он лезет?

– Не мог, – сказал Борька.

– Он что же, такой силач, этот из «вэ»? – осторожно спросил Юрий. – Ты просто испугался?

Нужно было сказать – «струсил». Как взрослому. Жестко. Если в одиннадцать трус, что же в тридцать четыре? Не хватало только, чтоб Борька выезжал на чужой спине. В Ивняках они не чирикались с такими любителями, не хватало, чтоб Борька... Но в последнюю секунду Юрий не смог сказать ему «струсил» и заменил детским словом «испугался». Все сразу другое. Мальчик испугался собачки, чужой тети, заводной жабки, хулигана. Ребенок просто испугался. Дитя испугалось.

– Сильный, – сказал Борька. – Не в этом дело. Просто я не могу по человеку ударить. Мне противно.

– Даже если тебя ударили первым? И ни за что?

– Все равно – противно...

– Если бы ты был чемпионом, я бы тебя понял. Тогда это было бы даже великодушно.

– Чемпионом?

Теперь он, наконец, поднял глаза на Юрия. Это были знакомые глаза, в коричневых блестках, и сейчас они смотрели в упор, как Юрий того добивался. Беспомощно и прямо. Как

у его матери. И все это были ее штучки.

– Очень удобное оправдание, – сказал Юрий. – Для слонтяев.

– Я не испугался, – сказал Борька. – И мама так тоже считает.

– Я так и думал, – сказал Юрий.

Они замолчали и оба не знали, чем заняться в этом молчании. Борька ненужно прибирал на столе. Юрий следил, как двигались его пальцы. Узкие, детские еще пальцы, ногти с темными заусенцами. Когда-то Борькины пальцы любили ползать по лицу Юрия. Взбираться на нос. Разглаживать брови. Осторожно коснуться притаившихся век и бежать. Мучительно хотелось сейчас услышать Борькины пальцы на своих веках. Притянуть их. Заставить в конце концов. Сжать, чтобы он взвыл. И понял. Молчание наедине с Борькой изматывает хуже любого прогона, это не новость.

– Нет, я не испугался, – вдруг сказал Борька. – Я вообще-то ему пощечину дал. И пошел. А он налетел сзади...

Пощечину. Вот как. А ты что подумал? Успел прочитать мораль. И испугаться. Если настолько не доверяешь собственному сыну, значит сам ни черта не стоишь. Когда родители охотно говорят о собственном сыне: «Он же у нас совсем телок. Кто поманит, за тем и пойдет. Его же сейчас затянуть ничего не стоит, возраст такой», невольно начинаешь сомневаться уже в их порядочности. Чувствуют, значит, хрупкость собственных принципов, если считают, что соб-

ственный сын ни в чем хорошем не укрепился за двенадцать лет рядом.

Борька влепил кому-то пощечину. Вот как. Уже так. Больше не нужно спрашивать. Он достаточно взрослый. И нельзя вымогать откровенность, хватит.

– А за что же ты ему дал? – услышал Юрий свой голос.

Борька ответил почти сразу. По лицу видно было, как ему не хотелось, но он ответил:

– Он про Вовчика сказал одну вещь...

Опять Вовчик. Так. Юрий отвел глаза.

Мелькнула коричневая штора. Окно. Форточка. Что-то хотел он от этой форточки. Вспомнил. Еще позавчера она была разбита, с улицы видел.

– Сам форточку починил? – сказал Юрий, чтобы сказать что-нибудь.

– Гуляев, – сказал Борька.

– Я бы сделал сегодня, – сказал Юрий. – Зачем же вы эксплуатируете жадного Гуляева, даже неудобно.

– Он не жадный...

– Я в другом смысле, – сказал Юрий.

– Он ни в каком не жадный, – сказал Борька.

Защитничек выискался. Это Гуляев сам о себе любил говорить: «Я мог просто со стороны на всех вас смотреть. Но мне мало со стороны, я жадный. Ух, какой я жадный! Я хочу с вами поработать...»

Смешно они познакомились, театр и жадный Гуляев.

В прошлом году молодежная газета вдруг откликнулась на новый спектакль. Снимком и даже рецензией, небольшой, но достаточно цветистой. Это их хлебом не корми. Подписано было явным псевдонимом. «Сочными мазками лепит свою роль заслуженный артист Витимский...», «В оригинальном ключе решено режиссером Хуттером...» Уже забыл – что решено. А о себе любая глупость помнится долго. Ага. «Как всегда, порадовал зрителей артист Ю. Мазин. Он создал на сцене характер сложный и многогранный...» Дальше забыл. Как же там? Впрочем, неважно, не стоит напрягаться. Рецензия как рецензия. Все перечислены, у всех эпитеты, придраться не к чему.

Только в конце они дали маху. В самом конце газета одобрительно отозвалась об актерах второго состава, которые тоже справились, донесли мысль, не уронили, и оправдали надежды. Опять все были названы пофамильно, причем даже инициалы не переврали, что редко бывало в молодежной газете, очень почему-то далекой от всякого искусства. Но второй состав, хоть и был отпечатан в программках, пока еще ни разу не работал на зрителе, вот в чем загвоздка. И всех это взбесило.

Хуттер позвонил редактору. Редактор сказал вареным го-

ЛОСОМ:

– Мы обязательно разберемся, наш сотрудник зайдет к вам в театр для личного объяснения.

Через день сотрудник пришел. Он был высок и сутул почти до горбатости. И очень длинные руки некрасиво мотались вокруг сотрудника, не умея себя занять, блокнот бы хоть достал. Но он просто мотал пустыми руками и сутулился. Типаж. Тогда еще никто и не думал, что это жадный Гуляев, без которого театра сейчас не представишь, вот врос. А тогда просто пришел сотрудник. Шляпа. Он, конечно, смущался, но никто не спешил его выручить. Даже дядя Миша, на что старожил, не знал этого длиннорукого и шепотом ругал молодежную газету за текучку кадров:

– И всякого они суют на театр!

Сразу же стихийно созрело собрание. Все орали как могли. А Хуттер, пользуясь случаем, все интеллигентно напирал, что, мол, не может уважающая себя газета обходиться без культурного рецензента, это несовременно, это позор для газеты. И Юрий еще вставил:

– Так то – уважающая себя! – На что Хуттер сверкнул пенсне и сказал весело:

– Не будем переходить на личности, Юрий Павлыч! Это ниже наших возможностей.

И опять все орали, путая главное с пустяками, как всегда бывает в запале. И даже пустяки выглядели внушительно, ибо произносились они отлично поставленными голоса-



ми, по всем правилам сценической речи.

Это Гуляев потом особо отметил. И все очень смеялись, когда он потом говорил: «Больше всего люблю за кулисами всякие глупости слушать. Ух, люблю! Смысл убог, но какое звучание, какая шикарная оркестровка! Театр!»

Он полчаса мог торчать возле телефона, пока Юрий разговаривал, и чмокать губами на каждую интонацию. Пока уж Юрия не забирало: «Слушай, иди к черту! Я же иначе не могу говорить!» – «Конечно, не можешь, – смеялся Гуляев. – Дай получить эстетическое наслаждение, ну, что тебе стоит?!»

– Я вас, знаешь, за что люблю? – объяснял позднее Гуляев. – За классическую нервную обнаженность. Другим в автобусе наступают на пятки, а вам, актерам, прямо на голые нервы. Ты чего вчера со мной в автобусе не поехал? После спектакля? Можешь не говорить, я и так знаю. Тот, в толстых очках, на остановке не так на тебя посмотрел. Один зритель не так на тебя посмотрел, и ты уже скис. Ты сразу поверил, что все плохо. И спектакль – дрянь. И ты скверно работал. И театр твой не уважают. И тебе так стыдно, что ты потащился пешком.

– Ну, зачем же так прямо, – морщился Юрий. – Чего ты из нас неврастеников делаешь?

Хотя после провального спектакля так оно и бывало. Когда хочется лицо шарфом закутать и в каждом прохожем подозреваешь вчерашнего зрителя. И каждый его смех прини-

маешь на свой счет.

– А это у вас профессиональная неврастения, – весело объяснял Гуляев. – Это не медицинское. Вам, по-моему, иначе нельзя. Вы же все копите, копите, чего-то там растите в себе. А потом – раз и в дамки. И нам, простым смертным, только ахать, глядя на сцену из зала. Правильно я понимаю сложный творческий процесс?

– Просто удивительно: вот ведь рядом стоишь, и ничего ты не понимаешь, – смеялся Юрий. И тут же мстил, невинно так у Гуляева спрашивал: – А вот ты как пишешь?

– Как это «как»? – ловился Гуляев на крючок.

– Ну, прямо из головы, да? Вот так прямо садишься и пишешь? Или ты сперва копишь, копишь...

Но это было потом, когда Гуляев уже стал своим.

А тогда на собрании все только отмечали краем глаза, что сутулый сотрудник, обняв себя длинными руками, раскачивается в углу на стуле. И даже улыбается. И не стыдно ему, еще улыбается! И уже хотелось сказать что-нибудь резкое лично ему, а не просто газете в целом. И мешало обычное актерское опасение применительно к газетчикам. Он, конечно, наврал. Может, еще сто раз наврет. Но писать-то он все-таки будет и впредь, куда денется? Будет! И куда от него денешься? Выбора нет. Лучше бы как-то поладить. Все-таки печатное слово. Которое все прочтут и увидят. И сам, может, вырежешь, чтоб хоть такая память осталась. Но очень уж он тогда улыбался. И все туже обнимал себя длинными руками.

В конце концов дядя Миша не выдержал:

– Вот вы, молодой человек, улыбаетесь! Вот вы так легко беретесь писать об актерском труде. Вам кажется, это тьфу! А я вас, между прочим, даже ни разу не видал за кулисами. И товарищи мои не видали. Вы даже не сочли нужным с нами поговорить, прежде чем писать. Вы даже с главным режиссером не поговорили!

Тогда сутулый сотрудник встал, уронив длинные руки, казалось, они упадут до пола. Он помялся и сказал, улыбнувшись всем:

– Так я же только вчера приехал, граждане...

– Как? – удивился даже Хуттер. – Что же вы молчали?

– Ишь какой хитрый! – засмеялся Гуляев. – Вы бы тогда ничего не сказали. А мне у вас так понравилось! А газета, конечно, дура, я за нее извиняюсь. Хотя только с завтрашнего дня приступаю к работе. Практикант, который писал, уже дал деру, так я просто пришел извиниться и познакомиться...

Тут Хуттер сразу сказал, у него нюх:

– Зачем вам эта газета? Идите лучше к нам, заведующим литературной частью. Место пока пустует. А все пустотелые просятся. Не хотим брать. Идите. Не пожалеете.

Гуляев замотал длинными руками:

– Спасибо. У вас хорошо, но газету не променяю.

Работал в газете и все вечера пропадал за кулисами.

Ритм его особенно вдохновлял, театральный. Перед пре-

мьерой костюмы, как всегда, не готовы, станок недокрашен, заслуженный артист Витимский забывает слова, глухой парикмахер куда-то засунул нужную лысину, репетиции идут до двух ночи, все валятся с ног и, очнувшись, неинтересно лаются друг с другом. А Гуляев обнимает бабу Софу, вахтершу, длинными своими руками и завистливо стонет на весь вестибюль:

– Как у вас хорошо! Какой у вас ритм прекрасный! Как в настоящей газете! У нас на Камчатке такая газета была!

И баба Софа лениво отмахивается от него бандитским голосом:

– Ладно, не висни, чего там. – Гуляев нравится даже бабе Софе.

– Пойми, – говорил ему Хуттер, – ты же нам по характеру нужен. Ты же в этой газете совсем заснешь.

– А я, может, уеду, – говорил Гуляев. – Как приехал, так и уеду. Я жадный, мне надо весь Союз посмотреть. Тем более мне еще даже комнату редактор не выбил.

– Нет, ты нас не бросишь, – говорил Хуттер. – Тебя же всю жизнь будет совесть есть. Иди, я тебе свою квартиру отдам. Хочешь, ключи в карман положу? Держи ключи.

Гуляев отскакивал от Хуттера, зажимал карман и смешно тряс длинными руками. Около года тряс. Потом пришел к Хуттеру в кабинет и сказал:

– Бери, если не передумал. Надоело. Хватит.

– Что надоело? – спросил любознательный Хуттер.

– Редактор, – объяснил Гуляев. Все молчал о производственных тайнах, теперь накипело. – Как критический материал идет, хоть совсем не ложись и сиди у него под дверью. Кто-нибудь ему что-нибудь обязательно скажет, он обязательно сдрейфит и снимет из полосы. В типографию не поленится сбегать, сам дырку заткнет, но снимет. Если его за руку не схватишь. Вовремя схватишь, можно уговорить. Прямо не верится, что ровесник. Можно подумать, головой все время рискует. Как же люди раньше работали! Все «тише, тише, согласуем, узнаем», сам уже шепотом говорит. Нет, я так не могу!

– А ты о нем фельетон напиши, – посоветовал мстительный Хуттер. – В столичную прессу.

Месяца через три Гуляеву уже дали комнату в театральном доме, через дорогу от Лены. Гуляев, конечно, свой парень и безотказный, но форточкой все-таки глупо обременять, неудобно. Дрова им для ванны Юрий пилил вместе с Гуляевым, подвернулся тогда Гуляев в помощники. Длинная рука провисала и мешала Гуляеву пилить, он сам над собой смеялся. Лена, уж на что сдержанная с чужими, тоже смеялась. И потом Гуляев хвалился, что помогает им иногда по хозяйству: забить, расколоть. «Жадный я на хозяйственные работы», – смеялся Гуляев.

Юрий даже как-то сказал Лене:

– Вы не очень на Гуляеве ездите. Неудобно все-таки эксплуатировать человека.

– Гуляева? – не сразу даже вспомнила Лена. – Я уж его месяца полтора не видала. Он, кажется, Боре как-то картошку помог тащить.

Трепло газетное, называется, помогает.

Когда Гуляев впервые увидел Борьку, он сказал Юрию:

– А я как-то боюсь заводить. Все кажется, кого-то родить – значит вроде уже расписаться и поставить на себя крест...

– Холостяцкий психоз, – усмехнулся Юрий.

Но Гуляев, тесно облапив себя очень длинными руками и медленно, как всегда, раскачиваясь вместе со стулом, вдруг сказал:

– Вот это мне тоже у нас в театре ужасно нравится. За пазуху друг другу не лезем. У меня жена на Камчатке осталась...

Он как будто не закончил, поэтому Юрий спросил:

– Совсем?

– Пока совсем, – ответил Гуляев и снова закачался.

Борька между тем перебрал на столе все книжки, сдул всю пыль и нашел подходящую тему для разговора, так это Юрий понял.

– Мы в поход летом пойдем, – сказал Борька.

– Кто это «мы»?

– Со школой, – сказал Борька. – Надолго, на две недели.

– На лодках? – быстро спросил Юрий. Куда, спрашивается, на лодках: река тут куриная, и кто их пустит?

– Почему на лодках? – И Борька удивился. – Мы пешком.

С рюкзаками. Будем в палатках спать, нам родительский комитет обещал палатки. И рыбу ловить. У нас маршрут разработан. Мама компас обещала купить.

– Когда пойдете?

– В июле...

– Не знаю, как в этом году гастроли. Может, удастся, я бы тоже пошел. Хоть отдохнуть с вами. Только вряд ли...

Юрий говорил и следил за Борькиным лицом. Не очень приятно следить за собственным сыном, а что остается... Борька слушал спокойно, и ничто на его лице не отразилось.

– Чего тебе идти? – сказал он. – Других, что ли, родителей нет? Там уже куча родителей записалась.

Юрий почувствовал облегчение, что еще причислен к этому сонму. Как это Гуляев тогда сказал: «Нет, все-таки боюсь заводить. Родителей уважать нужно. А тут я в себе не уверен. Как-то я до этого еще не дорос. – Он еще покачался на стуле, потер длинные руки, будто замерз, и добавил: – Если уж заведу, так сразу детсад. Я жадный». – «С меня вроде хватит», – честно сказал Юрий.

Опять сгустилось молчание. Потом Борька откровенно взглянул на часы, неумело свистнул и что-то сказал Юрию, вскинув подбородок. Впервые за все это время Юрий узнал свой жест, только у Борьки это было смешно: при его росте, будто пони взглянул.

– ...Ты, что ли, меня не слышишь?

– Нет. А что? – сказал Юрий. – Прости, я задумался.

– Мне надо в аптеку бежать, – повторил Борька.

– Сбегаем вместе, – улыбнулся Юрий.

– Я лучше один, – замялся Борька. – Я быстро сбегаю,

правда.

– Кому-нибудь? – понял Юрий.

– Вовчик болеет, – быстро объяснил Борька. – У него мама на работе, а врач выписал. И температура. Я заказал после школы в аптеке, теперь уже готово.

Опять Вовчик!

– А через час будет поздно? – сказал Юрий, хотя это было глупо.

– Я же быстро, – сказал Борька. – Я прямо вернусь через пятнадцать минут. Вовчик в соседнем доме живет.

– Может, все-таки возьмешь и меня? Окажем помощь...

Это было еще глупее, но вырвалось.

Борька совсем замялся.

– Иди. Я шучу. – Юрий даже засмеялся. Как он весело шутит!

– Я через пятнадцать минут...

Как заторопился, рад до смерти. Юрий смотрел, как он одевается. Пальто Борьке длинно, каких-нибудь десять сантиметров, а сразу – мужичок. Лена, конечно, не видит. Глаза слишком глубоки для маленького лица и кажутся сейчас черными от шапки. Это их еще заглубляет. Подбородок торчит. «Некрасивый какой, – подумал вдруг Юрий, даже сердце сжалось. – Хорошо, что не девка».



– Я бегом, – сказал Борька.

Слышно было, как он покатился по лестнице. Стихло. Юрий сделал усилие и к окну не подошел, нежности! Жили бы вместе, небось и ремнем влетало бы. Спину бы ему мылил, мылить там – одни ребра. Небось еще верещит, когда в глаз попадет. Маленький зажимал веки туго и молотил ногами по ванне, первое было его сознательное движение – ногами по ванне, окатил их с Леной, очень они тогда радовались. Никто его пальцем не трогал, и он, видишь, не может человека отдуть. Человека из «вэ». А уже дорос до пощечины. Это серьезно.

Через пятнадцать минут Борька не появился. Через полчаса тоже. В коридоре играли в прятки, что-то летело с вешалки. Кто-то летел, был рев. Потеряли Светлану, мокроносоую. Долго картаво выкрикивали по коридору: «Светвана!» Нашлась. Сорок минут натикало, хватит.

Высокий, острый голос завел на прощанье ту же считалку. Как по заказу. Только куплет другой, тоже подходит.

Ехал кто! то чер! ным! бо! ром!  
За! каким! то раз! гово! ром!  
Раз! го! Раз! го! Раз! гово!  
Вы! ходи! на бу! кву «о»!

Юрий шагнул, повинувшись ритму. Дверь за ним сама защелкнулась. Борька-то хоть с ключом ли? На площадке слепо мигала серая лампочка. Пока курил, прошло еще пять ми-

нут. Спускался тоже небыстро.

Когда вышел на улицу, вдруг зашагал широко, торопясь.

Мыслей не было. Вместо них бессмысленно мотались ку-сочки из пьес, чужой смех, чужие слова, чужая хрестоматий-ная мудрость. «И когда-нибудь я сыграю твоё ничтожество». Чужие слова иногда цепляются, как репей, вязнут, мешают появиться своим. «Уйти – мне жить; остаться – умереть». Умирая, все равно будем запоминать, вторым планом – как рука дрожит о стакан, как тяжелеют ноги, как близкие вхо-дят в комнату. Вдруг пригодится для роли – привычка, ре-флекс. Въелось.

Вот прождал сорок минут и все-таки перед уходом за-глянул в зеркало, запомнил помимо воли. Тоскливую про-зелень при общей свежести щек. Брошенный папа, который сам бросил.

Сгодится. Для неизвестной пьесы.

Иногда хочется стряхнуть голову, как большую сорину. Просто смотреть вокруг. Радоваться. Или плакать. После работы полностью отключиться от работы. Смотреть телевизор, не зная, как скомпонован кадр. Замирать в кино вместе со всеми, когда безутешная вдова целует бутафорскую ногу убиенного мужа. Слушать радио, не морщась на интонацию. Просто болтать со случайным знакомым, а не запоминать походку его или как курит, короткими, судорожными вдохами заглатывая дым. Иногда хочется, чтобы работа кончалась и дальше был бы чистый отдых. И ничего в себе не нужно откладывать. Освободиться – и все. Но если такое когда-то случится, можно переквалифицироваться. В кого хочешь. В театре тогда уже делать нечего.

Юрий резко мотнул головой, шапка чуть не слетела.

Наташа еще на радио. На смотр очередных дарований все равно опоздал. Хуттер просил прийти, но Юрий честно не обещал. Любит Хуттер смотры устраивать, просеивать дарования, держать в тонусе город, лелеять надежды родителей. В прошлом году двое пришли в театральный, стоит свеч. Но в единственный выходной хотелось бы большего разнообразия, чем пенсне Хуттера. Особенно после вчерашнего разговора.

И до чего ж все-таки колонны страшны на театре, даже

снег их не благородит. Куда уж снегу, даже высокосортная пыль, на которой, говорят, зиждется слава Нотр-Дам и прочих седых памятников, не создает иллюзий. Въедается, но не создает. Эти колонны только сильнее распирает от грязи.

Юрий с удовольствием обогнул театр сбоку, к служебному входу. Приказ все висел. Ладно, мимо приказа.

В малой репетиционной кого-то еще выслушивали. Опоздал, да не совсем. «Вороне где-то бог...» – ужасно они почему-то любят про ворону; каркать, видимо, нравится, выдающаяся характерность. У Юрия зубы ломит от этой вороны.

У окна стояли заслуженный артист Витимский, клешней приглаживающий шевелюру, и взъерошенный дядя Миша. Дядя Миша говорил с увлечением, ему доставляло видимое удовольствие говорить о чужом успехе, это у дяди Миши есть.

– До чего талантливые парни встречаются, позавидуешь, ей-богу, – говорил дядя Миша. – Он даже не знает, что нужно чего-то там играть. Ему просто говорят: поздоровайся! Он и говорит «здравствуй!». Но как! Я прямо обалдел, честное слово.

Лицо заслуженного артиста Витимского меж тем сводило эссенцией. Он вклинился в паузу и сказал:

– Это еще ничего не значит для профессионального театра. Вы же знаете, Михал Егорыч, что дичок в профессиональном театре приживается редко...

– Не спорю. Актером он, может быть, и не станет. Навер-

ное даже – нет. Но ведь ярко талантлив. Ярко!

Под пристальным рачьим взором Витимского Юрий подошел ближе.

– Где яркий талант? Покажите в щелку!

– Далеко, – засмеялся дядя Миша. – Это я недавно «Любовь Яровую» смотрел у железнодорожников, в народном театре. Поразительный у них парень есть. Надо Хуттеру показать.

– «Любовь Яровую» сейчас бы можно, пожалуй, интересно поставить, – сказал Юрий, просто подумал вслух.

– Уже режиссируете? – пытливо усмехнулся Витимский. – Сейчас молодежь любит замахиваться на режиссуру.

– Просто подумал. Разве нельзя?

– Кого? Тренева? Почему Тренева? – вклинился Петя Бризак, неизвестно откуда взявшийся. Только что его не было, ничего себе – выходной, все тут толкуются. – Я бы Тренева, озолоти, не взял!

– Ой, Петя, озолочу! – хохотнул дядя Миша.

– Как его сейчас можно брать? У него же все на ходулях!

– Если все на одинаковых ходулях, ходули практически уничтожаются. Остается одно общее измерение. Вам это не приходило в голову, молодой человек?

Подоспела неожиданная поддержка, вдруг – от Витимского. Но поддержка неприятного человека все-таки неприятна, субъективность наша. Хотя, пожалуй, он точно выразил, Юрий только еще слова подбирал, слова разъезжались, как

ноги. Чтобы не согласиться с Витимским, пришлось теперь сказать, противореча себе:

– Я актер, мое дело сыграть. А это пусть Хуттер копается.

– Приходило, – живо откликнулся Петя. – Остается только не измерение, а одно общее место. В свое время это как раз чуть не погубило театр.

– Приятно послушать очевидца, – улыбнулся Витимский.

– Это мы в тридцатые годы подзалетели с театром, – сказал дядя Миша, будто случайно подумал вслух. – Когда был выкинут лозунг: «Среднего актера – массовому зрителю...»

– Правда, был?

– Надо историю знать. Еще не то было.

Дядя Миша сдавленно хмыкнул и быстро свернул дискуссию, как неизменный председатель месткома он это дело умел. Интересно бы с ним вечерок посидеть.

– Юрий Павлыч, на минутку...

Юрий охотно последовал.

Дядя Миша, невнимательно что-то рассказывая, отвел его в дальний конец коридора, оборвал себя, замолчал. Когда Юрий уже хотел спросить, что случилось, вдруг сказал:

– Я, возможно, тоже бы так поступил в Сямозере...

Фу, надоело! Опять. Сколько можно?

– Хватит, дядя Миша. Приказ уже вывесили.

– Я не к тому, – сказал дядя Миша. – Я как раз теперь о приказе, раз так решили. Я вот что хочу сказать, Юрий Павлыч, ты пойми правильно...

Волнуется. Вот чудак!

– Приказ как приказ. Все правильно. Зритель в конце концов правда не виноват. А без спектакля я их оставил.

– Я прошусь в долю, – сказал дядя Миша.

– Как? – Юрий даже не понял.

– Вместе будем платить, – успокоился дядя Миша, сказав главное. – На пару. Я так считаю, правильно будет. Ты не из бзика сорвал, а местком безголосый, выходит. Дерьмовый я председатель.

Непривычная грубость прозвучала у него трогательно.

– Спасибо, – скованно сказал Юрий.

Быстро мы реагируем только на хамство, привычка к самообороне. А тут даже не знаешь, что и сказать. Неожиданный ход для председателя месткома.

– А то у нас получается – одна мера ко всем, – объяснил дядя Миша, опять волнуясь. – Кто-то напился, сорвал спектакль – высчитываем из заработка. Или как ты, например, – опять вычет. Никак он разницу не поймет...

– В смысле – директор?

– Неважно. Только – раз так руководство настаивает, я просто к тебе присоединяюсь, ты меня пойми правильно.

– Я понимаю, – сказал Юрий. – Только не надо. Сам пока в состоянии.

– Это ты зря, – сказал дядя Миша.

– Все, – сказал Юрий, – забыли.

Они разошлись, так и не досказав чего-то.

Перед малой репетиционной стоял парень в свитере. Шея его была вроде знакома, только сразу не вспомнить. И смутно знакомым показалось Юрию ящеричное пальто, которое парень держал в руке вверх подкладкой. Пальто женское.

– Вы уже? – спросил Юрий шею.

– У меня там жена, – парень кивнул на дверь, как на кабинет дантиста.

– Сейчас кончат, – сказал Юрий.

– Моя точка мнения, что ее сюда давно надо было сдать, вот не знал. Сын маленький был, я дома сижу как кормящий отец, а она все по репетициям бегает...

Его голосом можно баржи к причалу привязывать, голос под стать шее. Но в голосе этом не было осуждения, только застарелый восторг. Невольно позавидуешь неизвестной жене, которая сейчас излагает про ворону, такая шея удар смягчит.

– Тут ведь не принимают никуда, – сказал Юрий на всякий случай.

– Посмотрим, – сказал парень.

В глубине репетиционной всплеснуло. Забулькало. Вырвался знакомый смех Хуттера. Потом выкатился сам Хуттер в замшевой куртке, глаза хитро скрыты пенсне. Увидал Юрия, схватил за рукав.

– Идем, познакомлю. Интересная девчонка со швейной фабрики, вот уж не ждал. Ей-богу, надо в эпизоде попробовать. Басней она меня уморила. Да ты только взгляни. Рост!



Юрий вошел за ним в комнату. Парень тоже вошел.

– Увлекаюсь я всегда, прямо беда, – пожалел себя Хуттер.

Она была выше всех в малой репетиционной. Прямые дикие волосы небрежно брошены вниз с головы. И перехвачены вчерашней ленточкой. Юрий узнал даже туфли из искусственной зебры, вспомнил теперь и пальто. Круто прорезанные глаза ее смотрели на Юрия с насмешливым ожиданием, признавая и тотчас готовые отказаться.

– Яценко, Лида, – представил Хуттер.

– Лишнего билетика нет? – сказал Юрий.

Она легко засмеялась, вчера Юрий не помнил, чтобы она смеялась, смеяться ей шло, она по-детски откидывала голову.

– А я вас вчера сразу узнала, как только вышли на свет.

– Как не узнать знаменитость, – сказал Юрий. Он не успел понять, обрадовало это его или огорчило.

– Уже знакомы? – удивился Хуттер.

– В одном детсаду росли.

– Ясно, – сказал Хуттер, будто узнал бог знает какую новость. – А от вас, Лида, я хотел уклониться.

– Верю, – кивнула Лидия. – Поздно уже что-то там начинать, только время у вас отниму.

– Во-первых, вы уже давно начали, – сказал осторожный Хуттер. – Во-вторых, мы с вами ничего и не собираемся начинать. Просто попробуем кое-что в свободное время. Специальность же у вас есть, не получится – и не надо.

– И не надо, – повторила она, резко тряхнув волосами.

Парень, видимо принявший это за знак, сразу подошел с пальто наперевес.

Еще поболтали о том, о сем. Яша работал механиком там же на фабрике, сыну стукнуло три, на бабушке ездит, весь отпуск ходили на лыжах, с утра до ночи. Идиллия. Было приятно, что глупых вопросов она так и не задала: «Извините, конечно, но почему вы вдруг купили билет? У вас было такое настроение?»

– Еще как-нибудь сходим в местный театр? – сказал Юрий.

– Обязательно, – улыбнулась Лидия.

И муж Яша улыбнулся.

Юрий проводил их до выхода. Распахнул дверь перед Лидией, пожал Яшину пятерню. И когда мощная шея над толстым свитером прощально мелькнула перед глазами, вспомнил. Телеграф. Междугородная кабинка. Настойчивый совет всей округе: «Будь на пол-лаптя выше», сколько раз сам потом повторял. Он? Или просто похож? Вот такого сыграть бы. Этого Яшу. Который тверд и уверен в завтрашнем дне. Сам нянчит своего парня и жену бесстрашно отпускает на репетиции. И ждет ее в коридоре, готовый заслонить от всего. Если потребуется.

– Дверь настежь раззявил, всю хату вынесет, ходют...

Баба Софа плечом оттеснила Юрия, заперла дверь, пускай стучат, коли надо кому, уселась к столу, ровно поставила

ноги в валенках, перекрестилась на телефон и сказала:

– Наталья твоя звонила. Велела передать, чтоб не ждал. Ее там на телевиденье задержали, что ли. В общем – не поняла, а не жди.

– Надо было меня позвать, – сказал Юрий.

– Чего звать попусту. Дома наговоритесь, а сказано – не жди.

Телефон баба Софа считает делом пустым, далее жаловались на нее, все равно никого не зовет, отвечает что хочет.

– И в церкви, между прочим, давно телефон есть, – сказал Юрий.

– Иди, иди, ладно.

Уже в конце коридора баба Софа остановила его бандитским вскриком:

– Стой, чего вспомнила. Наталья вроде к Гуляеву сразу поедет. Вы будто к Гуляеву собирались?

– Собирались, – сказал Юрий.

У Гуляева каждый вечер народу полно, нечего и собираться. Но пока все-таки надо найти Хуттера. Как ни верти, а со швейной фабрики Юрий вчера ушел, и какой-то «втык» ему полагается. Одно к одному – Хуттера Юрий настиг только в директорском кабинете.

В кабинете разговаривали громко. И больно уж задушевыми голосами. Особенно у директора тон был теплый, стекла должны отпотеть от такого. Значит, директор сейчас предавался любимой иллюзии. Иллюзий у него было много. Что

театр только на нем и держится. Что актеров он понимает, как никто. А их и понимать нечего, надо просто уметь держать в руках. Зато они его обожают.

Но любимую иллюзию знали все в театре. Любимая – что Хуттер советуется с ним по всем творческим вопросам и даже в творческих вопросах шагу без него не может ступить. Директору, как человеку далекому от всякого искусства, особенно импонировало это сочетание – «творческие вопросы». Многих хозяйственников оно отталкивает, а ему импонировало.

Когда Юрий вошел, директор душевно говорил Хуттеру:

– Я вам верю, что он хороший актер и необходим нашему театру. Но ведь он дорогой – сто семьдесят рублей. Где мы возьмем? Это надо уже сейчас думать, Виктор Иванович. Придется кого-то побеспокоить. Из труппы.

– Как видно, – сказал Хуттер.

– Можно, конечно, Воробьеву на пенсию, но ведь профсоюз наверняка будет против.

– И я буду, – сказал Хуттер, по головам он не ходит. – Дарья Степановна Воробьева болеет, одна, театр для нее все. И сильна еще, молодых за пояс заткнет.

– По возрасту уж давно...

– Возраст сам по себе ничего не определяет.

– Но если мы приглашаем серьезного человека, почву мы обязаны уже сейчас подготовить, – напомнил директор, ему

правило напоминать. – Тогда придется из молодежи потребовать.

– Подумаем, – сказал Хуттер. – Нужно поговорить на худсовете.

Тут директор, наконец, заметил Юрия, кивнул ему, сказал Хуттеру, подчеркнув голосом конфиденциальность:

– К этому вопросу мы еще вернемся...

Хуттер оглянулся, повинувшись директорской интонации, тоже увидел Юрия, сказал весело:

– Очень кстати. Секрета тут нет, Юрий Павлович старый член худсовета, ему надо знать. Горячев приезжает, из Омска.

– Вы пока побеседуйте, – сказал директор.

И удалился. У него была походка ответственного человека, уставшего сидеть в президиуме. Хотя отправился он не далее конца коридора. Эту походку заслуженный артист Витимский неплохо использовал в последнем спектакле.

– Горячев? – переспросил Юрий, пытаясь вспомнить.

– Актер божьей милостью, – сказал Хуттер. – Давно его звал.

Хуттер резко вскинул пенсне, глаза за стеклами были тверды и печальны, наперекор веселому тону. Широкий крестьянский лоб взрезали твердые морщины, еще недавно у него морщин не было. Тут с одной-то ролью крутишься-крутишься. А главреж обязан лавировать среди сорока самолюбивей труппы, ладить с директором и рабочими сцены, выкру-

чиваться наверху и отвечать на запросы снизу. Хуттер еще долго без морщин продержался, стойкая конституция. И не устает вылавливать интересных людей по всему Союзу. Вот теперь – из Омска.

– Нам такой социальный герой и не снился, я на декаде видел в Москве. И современный...

– Современно – несовременно! – Юрий, сам того не желая, сразу зацепился за слово, которое приелось до раздражения, не слово уже – фетиш. Настроение сразу упало, и все внутри съежилось, против Хуттера, вздыбилось. Будто это был давний спор, который нужно немедленно разрешить. Как немного сегодня надо, одно слово. – Характеры мелкие выбираем, будто нарочно, конфликты, как иллюстрация к детской книжке. Да и то ленимся в них копать, как бы случайно не углубить. Зато уж современно, ничего не скажешь, в каждой пьеске – ширмочки, модные имена...

– Это уж кое-что, – задумчиво сказал Хуттер. Примирительно как-то сказал, прислушиваясь. Не к словам, а к самому Юрию. Юрий видел – очень внимательно, и это тоже раздражало. Он вдруг ощутил в себе ту же оскаленность, на которой ловил себя последнее время на сцене.

– Есть непреходящие человеческие ценности, через которые не прыгнешь, – сказал Юрий, злясь на себя. – И не нужно прыгать. Нельзя. Ценности, ради которых стоит. Верность. Дружба. Порядочность. Что там еще?!

– Идеалы? – сказал Хуттер с легким вопросом, но без на-

смешки.

– Идеалы, пусть так, – упрямо кивнул Юрий. – Хотя можно, конечно, и «Недоросля» поставить как протест против системы народного образования...

– Можно, почему же нет, – сказал Хуттер.

– Только надоело, – сказал Юрий. – Понимаешь, надоело! Я устал. Я хочу, чтобы чистыми, хорошими словами сказать о чистом, хорошем чувстве. Необязательно современном. О вечном. Чтоб были стихи. Простые. Чистые.

– И хорошие?

– Да, и хорошие. И чтоб тело красивое было.

И музыка.

– Немножко, конечно, хочешь. Скромно. А конкретнее?

– Да хоть «Сирано», – сказал Юрий. И сразу устал, рта больше открывать не хотелось, уйти и зарыться головой в сено, чтоб ударило клевером, как в голицынском парке осенью. Распластаться и лежать. И пусть высоко бегут сухие чистые облака.

– Насчет «Сирано» стоит подумать, – сказал Хуттер.

– Подумай, – кивнул Юрий без интереса.

– Но к Горячеву это все-таки не имеет отношения. О Горячеве мы с тобой ничего худого не знаем. Я не знаю. Ты не знаешь.

– Да, – сказал Юрий, чтобы он перестал спрягать.

Наконец вернулся директор. Взбодренный, как после душа. Уселся на свое место, поворошил бумаги, улыбнулся

Юрию добродушно, включилась иллюзия – «понимаю актеров, как никто». Улыбка у него – функция организма. Думаешь, он тебя понял, а он просто пищу переваривает, до обеда с ним не могли разговаривать по серьезным вопросам. Но хозяйственник он хороший, отдадим должное.

Директор сказал задушевно:

– Что ж это у вас опять получилось на швейной фабрике, Юрий Павлович? Говорят, сбежали?

Прямо не верится, что тогда, после Сямозера, он орал, такой задушевный руководитель. Прежде чем Юрий успел ответить, Хуттер сказал:

– Не совсем точная информация. Вчера я Юрия Павловича сам отпустил. Если вы имеете в виду вчерашний вечер.

– Вот как? – набычился директор. – Тогда другое дело.

И поверить – не поверишь. И проверить – не проверишь. Оставалось отыгаться только на старом. Директор сказал:

– С приказом вы уже ознакомились?

– Познакомился, – сказал Юрий.

Директор подождал, но ничего не дождался. Тогда он еще сказал:

– Дисциплину в театре мы будем укреплять самыми суровыми мерами. Дисциплина среди актерского состава у нас пока хромает.

– Понятно, – сказал Юрий.

– Электрик вчера опять под градусом был, – сказал Хуттер, отведя разговор. – Электрик он, правда, опытный, но



уже хватит. Пусть подаст по собственному желанию. Или я подам.

– Незаменимых людей нет, – пошутил директор.

– Я об этом подумаю, – весело откликнулся Хуттер.

Собственное остроумие вернуло директору прежнюю доброжелательность. Он сказал Юрию, улыбаясь функциональной улыбкой:

– Мы тут с Виктором Ивановичем обговорили распределение ролей для следующего спектакля. У вас опять впереди большая работа. Очень серьезная работа, которая потребует... – Он затруднился закончить и замолчал, добродушно сопя.

– Я знаю, – сказал Юрий. – Геолог Саша?

Пьесу они на труппе принимали со скрипом, хотя автор прочитал мастерски, из Москвы приезжал читать. У автора были тонкие, летящие пальцы, в которых мелькали страницы, и твердые, выпуклые глаза. Он был уже не молод, средне известен и знал, чего хочет. Читал он великолепно. Он забивал голосом слабые места, так что они почти не выпирали из пьесы. Забивал жестами, свободой движений, выпуклым мерцанием глаз, собственной верой в несомненные достоинства пьесы. Неподготовленную аудиторию он бы даром купил. Была в нем цыганистая настырность, которая выманит последний рубль из кармана и легко наскочит потом по дальнюю дорогу, бубнового короля и сиреневое счастье за ближайшим поворотом.

Но пьеса была неприлично слаба. Юрий все опускал глаза, чтоб не встретиться взглядом с автором. Было стыдно, что большой, сильный еще, красивый мужик привычно и с удовольствием паразитирует на ниве. Всерьез не понимает или искусно притворяется. Все равно стыдно. Если сидит в лаборатории химик-дурак, об этом иногда знает только его научный руководитель. Ну, еще кой-какой узкий круг догадывается. А тут иногда возьмешь книгу, и с каждой страницы автор тебе, захлебываясь, кричит: «Я дурак, я дурак!» И ничего. И деньги платят. И себя уважает. И уважением пользуется.

И с актерами то же бывает.

Хотя на сцене частенько наоборот. Очень неумный, мягко говоря, человек так может сыграть Эйнштейна, что хочется мчаться к нему в антракте и срочно выяснять для себя смысл теории относительности. Кажется, он шутя, на пальцах, объяснит парадокс времени, так легко и естественно произносит он текст, в котором не понимает ни бельмеса. Не дай только бог такому актеру вдруг забыть слова на спектакле. Содержание мгновенно его покинет, а лицо еще некоторое время сохраняет нужную форму. Пожалуй, это единственный случай, когда удается наблюдать в природе форму в чистом виде. Мучительное, надо сказать, зрелище.

Юрий до сих пор помнил мучнистые, рассыпающиеся вдруг глаза заслуженного артиста Витимского на позапрошлой годней премьере. И как Витимский, странно оглохнув,

ловил клешнями воздух. Потом он вдруг вспомнил текст и сразу обрел одухотворенность. Просто получилась интеллектуальная пауза, затяжная, как парашютный прыжок, зритель ничего не заметил. Только у Хуттера в директорской ложе вспотело пенсне.

– Геолог, – затруднился директор, – имя, правда, не помню.

– Имя – Леонид, – подсказал Хуттер. – Аншлаг, кстати, обеспечен. Хотя я очень хорошо понимаю Юрия Павловича.

– Кассовая пьеса, для молодежи, – солидно подтвердил директор. – Я не был на читке, но потом очень внимательно познакомился.

– Кассовая, – сказал Юрий. – Кто же спорит?

– Роль, значит, вас не слишком радует?

– Не слишком, – сказал Юрий. – Спасибо, он хоть не облученный.

Хуттер весело хрюкнул.

– Кто? – не понял директор.

– Геолог, – сказал Юрий.

– Вы не находите, что вы немножко заелись? – вое еще добродушно сказал директор. – В других театрах актеры были счастливы так работать. Широкий репертуар, творческая обстановка...

– Не нахожу, – сказал Юрий, хотя Хуттер был уже неспокоен.

– А для выездов совсем отличная пьеса, – решительно за-

кончил директор ненужную дискуссию. – Пять действующих лиц, что может быть лучше!

– Только если двое. Или вообще один, – сказал Юрий. – А для выездов идеально, если бы ни одного действующего лица, а сразу танцы.

– Ты не прав, – быстро сказал Хуттер.

– В том виде, в каком мы возим спектакли, я, к сожалению, прав, – упрямо сказал Юрий. – Это профанация.

– Значит, вы считаете, что, если человек живет не в городе, его нужно вообще лишить всего? – звонко спросил директор. Звонкость у него всегда предшествовала крику.

– Ты не прав, – сказал Хуттер. – Я всю жизнь помню, как к нам на рудник приезжали артисты. «Цирк приехал!» – всегда называли цирк, – и все несутся. Полный зал набьется. А в первом ряду, в валенках и в ушанке, сидят сам начальник рудника и его жена в панбархатном платье. Нет, это был праздник.

– Теперь этого мало, – упрямо сказал Юрий.

– Вы, Юрий Павлович, выросли в большом городе, и вам этого не понять, – звонко, но сдерживаясь, сказал директор. – Но понять вы все-таки обязаны. Вы просто избалованы городом.

Нет, Юрий вырос всего-навсего в Ивняхках, и истоки у них с Хуттером поразительно одинаковы, что значит – одно поколение. У Юрия и у Хуттера. Юрий тоже навеки запомнил первое потрясение большим искусством на открытой сце-

не голицынского парка. Потрясение в лице заезжей эстрады. Особенно маленькую певицу в широком малиновом платье. Самое чистое воспоминание о женщине, которая задела за душу и прошла мимо. Сколько Юрию тогда было? Десять, пожалуй. Да, десять исполнилось. Сзади платье хватало ее за шею тонкой ленточкой-перемычкой. И перемычка дрожала, когда она пела. Как она пела! Песню он не запомнил, только вот этот малиновый цвет, ленточку, шею, которая напрягалась под звуком. И как у него сводило лопатки, когда она пела. Он даже не хлопал. Просто сидел на корточках перед самой сценой и смотрел, как она уходит. Она была прекрасна, а вокруг плевались семечками. И еще Розка стояла сбоку, у дерева. Розку Юрий уже тогда помнил всюду. Она стояла одна, не шевелясь, и Юрий все косился в ее сторону.

В том же концерте его поразило еще конференсье, это Юрий тоже запомнил. Конференсье подмигнул ему и сказал: «Принимаются в вязку чулки из шерсти родителей». Юрий взвизгнул и оглянулся на Розку. Конференсье еще много чего говорил, но «чулки» он затмить не мог. Ах, как было смешно! Гомерически. Эстрада.

Как-то в Ялте Юрий случайно забрел на эстрадный концерт после примерно десятилетнего перерыва. Летний театр на две тысячи мест, приятно работать. Билет стоил три рубля. Если бы драма попробовала брать столько, даже самая лучшая, никто бы не обернулся в ее сторону. Здесь Юрий вырвал билет с боя. Он попал на заключительный концерт

песни. Пели всяко. Зато как они раскланивались! Они буквально вымогали аплодисменты. Юрий все ждал, что конференсье подмигнет ему, как тогда в парке, и скажет, наконец, про чулки. Всю правду. И заодно всенародно признается, что это он. Тот самый. Неистребимый. Вечный. Хотя и так было ясно. По ужимкам и репертуару. Интересно, как чувствует себя на концерте взрослый и неглупый сын такого конференсье? Или он просто не ходит на концерты. Или у такого конференсье сын просто не может получиться неглупым.

Пока Юрий предавался этим праздным раздумьям, мальчишка из публики вынес на сцену букет. Конференсье поднял мальчишку перед микрофоном: «Как тебя зовут?» – «Андрюша Попов», – тихо сказал мальчик. «Целуй маму!» – рявкнул конференсье. И летний театр на две тысячи мест грохнул аплодисментами. Юрий физически, всей шкурой, почувствовал тогда в Ялте, как это единение, рожденное халтурным концертом, страшнее любого разъединения.

Директор, оказывается, длинно говорил что-то, Юрий прослушал, успел поймать только конец:

– Есть все условия, чтобы на выезде работать так же ответственно, как на стационаре...

– Тогда, конечно, – вяло согласился Юрий. И вышел.

Хуттер еще остался в кабинете. Юрий обещал подождать его у выхода. Баба Софа уже сменилась. Дежурила теперь Ольга Васильевна, общительная женщина вплотную к пятидесяти.

– Закурить бы чего, – попросил Юрий.

– Пожалуйста, Юрик, сколько угодно.

Всегда его немножко коробило от «Юрик», но она так любила: Юрик, Наташенька, Петечка, всех так звала.

Она была бы еще миловидной, если бы не постоянное выражение какой-то насильственной оживленности. Усталой оживленности в лице и в глазах. Этот внутренний допинг, причин которого Юрий не знал, придавал Ольге Васильевне что-то жалкое. Юрий это бессознательно чувствовал, хоть говорил с ней редко, постольку-поскольку. Но иногда, бездумно пробегая мимо ее столика, Юрий ловил себя на смешном желании: хотелось крепко схватить ее за плечи и встряхнуть.

Актеры охотно плакались в жилетку Ольге Васильевне, обильно изливали душу и обиды друг на друга. Потом шумно прощались и убегали. Нервная их работа требовала излияний и сочувствия. Ольга Васильевна понимала это, всегда готовая слушать и отзываться. Разговор оживлял актеров, как дождь: они убегали веселые по всяким своим делам. И Ольга Васильевна оставалась в театре одна, но выражение какой-то покорной оживленности так и не сходило с ее лица, будто застыло. Она любила мелкие поручения. Звонила кому-то домой, чтобы встретили маму на остановке, да, уже вышла из театра.

Потом она нехотя открывала книжку с пожелтевшей закладкой и курила через каждые десять страниц. Чтобы цель

была в чтении и хоть какой-то интервал в папиросах. Курила она «Север», зелье, надо бы давно на фильтр перейти, да от него горечи нет, одна синтетика. А ведь в куреве главное – мгновенная горечь, которая обжигает нутро и делает все кругом мелким и безболезненным.

– Какую вы дрянь смолите, – поморщился Юрий, затягиваясь.

– Привычка. А вам еще можно бросить. Я-то уж не могу. В школе всю жизнь боролась с курильщиками, а сама не могу.

– Почему в школе? – не понял Юрий.

– А я же, Юрик, учительница, – неумело улыбнулась Ольга Васильевна. – Завучем даже была, русский язык – мой предмет, и литература. Заболела туберкулезом, и врачи предписали: из города выехать срочно. Устроилась заведующей клубом. Приехала в леспромхоз: сосны и мат, даже света нет. В комнате у себя на крючок закроюсь и реву. А они стульями в зале дерутся. Через год у меня уже, правда, по всему поселку активисты ходили с повязками: патруль. И хор – семьдесят пять человек, одни мужики. Вот с такими бородами. Русские песни без всякого аккомпанемента, а капелла. Сейчас все мои активисты большие люди: мастера, бригадиры, даже директор есть – бывший староста драмкружка.

– А как же?... – осторожно начал Юрий.

Вот так каждый день ходишь мимо человека, роняешь ему безразличные улыбки и ни черта не знаешь.

– А очень, Юрик, просто. Наш леспромхоз свое кругом



вырубил, и его куда-то на север перевели, в Коми. А мне туда врачи не посоветовали. Я за пять лет подкрепилась медом и свиным салом, даже с учета сняли. А в Коми не посоветовали. Комната у меня здесь, хоть родных и нет никого. Я и вернулась. Только в школу никуда не попасть, литературы нигде не нужны. Три месяца вообще без работы ходила. Сначала зимнее пальто на рынок снесла, потом – пуховый платок, оттуда привезла, потом – валенки, тоже оттуда, катаные. А больше и нести нечего, хоть под поезд. Каждое утро к открытию гороно ходила – нет, не требуюсь. Потом и ходить перестала, вроде стыдно, как с ножом пристаю к занятым людям...

– Веселенькое дело, – сказал Юрий.

– Ага, – кивнула она безразлично, будто не о себе говорила. – А из города боюсь уезжать – комнату потеряю, немолодая же. Раз в автобусе еду, кондуктор подседа и говорит: «Вы чего плачете? Я вот смотрю – вы часто ездите и все плачете». Ну, рассказала. Она говорит: «Идите к нам в парк. Не все равно?! Те же деньги». Ай, думаю. И пошла. Сначала никак не брали. «У нас, – говорят, – не проходной двор, чтобы всякий с высшим образованием!» Потом все-таки устроилась. Послали на третий номер. А это как раз мимо моей бывшей школы. Вот когда постарела, Юрий! Ученики же мои едут, родители их, учителя. А мне за билет надо получить, остановку объявить надо. Я в другую сторону отвернусь, воротник подниму. И объявляю. Билет протяну, а сама вся отвер-

нужь. Каждому же объяснять надо! И не каждый еще поймет.

– Представляю, – сказал Юрий. Он вдруг ясно представил, как бы заслуженный артист Витимский, к примеру, поздоровался с Наташей, вдруг встретив ее за прилавком молочного магазина. Прямо изледенит бы рачьим взглядом и сладким голосом изничтожил бы. Впрочем, скорее всего, просто бы сделал вид, что не узнал.

Заверещал телефон. Юрий поднял и положил трубку, телефон замолчал на время. Хуттера все не было. И ждать уже не хотелось.

Ольга Васильевна опять закурила. Волосы косо упали ей на глаза, густые, тяжелые, такие не помешали бы и Наташе, механически отметил Юрий. Ольга Васильевна забирала их туго в узел, будто стыдилась молодых волос. И сейчас смахнула их с глаз брезгливо, точно мусор. В лице ее болезненно проступило привычное оживление, сразу сделав лицо жалким.

– А сюда как же? В театр? – спросил он, чтобы избавиться от жалости в горле.

– Миша перетацил, – сказала она.

Юрий не сразу сообразил, что она имеет в виду дядю Мишу, предместкома. А когда сообразил, вспомнил, что частенько видел у этого стола дядю Мишу.

– Мы же учились вместе, – продолжала она. – Можно сказать, все десять лет. Я бы уж так и осталась в автобусе: вроде привыкла уже, халат сшила. Работа и работа. Нет, перета-

шил все-таки. «У нас, – говорит, – отдохнешь. А потом школу найдем». Второй год отдыхаю.

– Не нашел, – вслух подумал Юрий.

– Нет, Миша найдет, раз обещал, – сказала она. И в первый раз Юрий услышал в ее голосе веру во что-то. – Сама-то я не умею, а Миша сделает. Только очень уж надоело. Книга даже ни одна уже не идет: мусолишь, мусолишь. Одно ведь звание, что дежурный. Большие люди все мимо ходят, – она усмехнулась углами губ. – Кивнут через силу: сторожика! А все никак не привыкну, избаловалась в своем леспромхозе...

– Что же он сразу тогда не помог?! – сказал Юрий с удивившей его горячностью.

– Кто? Миша? Он даже не знал, что я вернулась. Я от него-то больше всех скрывалась.

Юрий ждал, что она объяснит, почему – «больше всех». Но Ольга Васильевна замолчала.

– Люди-то и в театре разные, – опять вернулась она к этой теме, видимо беспокоившей ее. – На сцене ручку целует, а тут едва кивнет. Когда и прикрикнет, будто не женщина. Вы-то с Наташей простые, легкие...

– Нецарская фамилия, – улыбнулся Юрий.

– Нет, правда, – сказала она. – Это, Юрик, важно, вы поверьте. Будет когда настроение, может, зайдете? Я в центре живу, кофе сварю по-турецки, тоже в леспромхозе научили, армянин у нас был, знаток.

– Может, – неуверенно сказал Юрий.

– Вы адрес запомните на всякий случай, – оживилась Ольга Васильевна. – Адрес у меня простой: над центральным «Гастрономом», квартира восемь, три звонка.

– Запомню, – сказал Юрий. И встал.

Хуттера так-таки не дождался, зато одним человеком в театре для него стало больше.

К Гуляеву можно было пройти прямо улицей. Но Юрий все-таки еще завернул в знакомый двор, пересек его быстро, не останавливаясь. Воровато пересек, избегая встреч. Встретиться сейчас с Борькой было почему-то даже боязно – еще что за новости, поздравляю. Форточка у Борьки была открыта, свет горел, коричневая штора аккуратно расправлена на окне. Все в порядке, дома.

Гуляев жил в первом этаже, и ему стучали всегда прямо в окно. Юрий стукнул кодом, сквозь тонкую занавеску взметнулись тени. Гуляев распахнул дверь, шире некуда, и сграбастал Юрия длинными руками – нежная скотина, почти «утки не виделись, как же. И Юрию, как всегда, было приятно увидеть узкое лицо, расцветенное живыми глазами. Если у Юрия есть сейчас настоящий друг в театре, это, наверно, Гуляев. Наверняка. Даже хорошо, что он не актер, но стоит достаточно близко. Помогает работать. Дружеский глаз изнутри и со стороны – это редкость. Повезло с Гуляевым.

– Наташа у тебя?

– Пока нет, – сказал Гуляев. – Но появится. Ляля Шумецкая ее на студии видела. Не волнуйся, появится.

– Долго она сегодня, – сказал Юрий.

Он сбросил пальто и по старой глупой привычке даже хотел причесаться перед зеркалом. Но было не перед чем. Это

же Гуляев. В прихожей, где у порядочных людей полагается висеть зеркалу, Гуляев держал икону. Дрянную, хоть и старую. Прямо неудобно, до чего дрянную. По этой иконе очень видно, что халтурщики водились во все времена, не наше это завоевание, нет, не наше. Сам Гуляев в иконах не смыслил, кто-то, наверно, с гастролей ему привез.

Заскорузлая божья мать бессмысленно взирала на Юрия со стены. Засовывая ненужную расческу обратно, Юрий сказал:

– Убери ты ее, ей-богу. Я тебе трюмо куплю.

– Нельзя, подарок, – засмеялся Гуляев.

– Это тебе нарочно ее, такую, подарили. Чтобы скомпрометировать перед мыслящим большинством.

– Нет, это хороший человек подарил, – серьезно сказал Гуляев. – Самый старый охотник у нас на Камчатке, я о нем очерк писал. Это у них семейная реликвия, передавалась по наследству. Счастье приносит. У него сын на войне погиб, так что нет никого. Я никак брать не хотел, боязно даже как-то брать. Суеверно. А он потом все равно по почте прислал. Пускай висит.

– Прости, я не знал. Думал, кто-то из наших.

– Его теперь уже нет, недавно узнал случайно. – Гуляев сделал заметное усилие и перебил сам себя: – А чего мы, собственно, тут стоим? Проходи! Только тебя не хватает.

Юрий вошел в комнату.

Здесь было тесно. Уютно и необжито одновременно. Кни-

ги стояли у стен высокими стопками, который уж месяц Гуляев все собирался заказать полки, времени не хватало. Петя Бризак сидел на полу, обвитый проводами, и копался в приемнике, любимое Петино занятие, в этом он понимал. Он брал узкими пальцами крошечные колечки и накручивал их куда-то. Петя работал даже без инструментов. Самое странное, что после Петиных рук приемники обычно начинали работать. Юрий убедился на своей «Спидоле».

– Шел бы ты в радиомастерскую. Уважаемый человек был бы.

– Я уж его агитировал, – засмеялся Гуляев.

– Выгонят – пойду, – сказал Петя, не отрываясь. – Я ведь до девятого класса только технические книги читал. Меня все знакомые в пример своим оболтусам ставили, как целенаправленного. Такая у меня целость была, смех. Помню, на собственном дне рождения шараду мне загадали – «Везувий». «Везу» я, правда, быстро сообразил. А на «Вий» напрасно все надувались и выли потусторонними голосами, – я и слова такого не знал – «Вий». Опозорил интеллигентного папу.

– Чего же ты потом-то свихнулся?

– Как-то так, постепенно, – сказал Петя, собирая приемник легко, как детские кубики.

На пузатой тахте, которую Гуляев приобрел у Витимского, по соседству, за семнадцать рублей, сидела Ляля Шумецкая, влажно блестя глазами. У нее был счастливый вид человека,

вырвавшегося на волю из-под семейного гнета и упивавшегося каждой минутой свободы. Но уже чувствовалось, что чересчур много свободы она не хочет и вернется под свой гнет добровольно, скоро и с особым даже удовольствием. Но пока она отдыхала. И была в своем репертуаре. Ляля говорила с чувством:

– Я в студии Таню арбузовскую играла, представляете?! Девчонка же, ни мужчины не зная, ничего. А там же такие переживания, ребенка ждет, любит. До того переволновалась, что вдруг во сне как-то это все ощутила, прозрением, – вот я жду ребенка, а он меня бросил, а я жду. Встала утром, как чумная. Раньше всех прибежала на репетицию, в коридоре сижу и дрожу. Вот уж сыграла в то утро – все удивились. Играю, а сама аж дрожу. А потом, уже на следующий день, прошло, больше уже не могла в себе это вызвать...

Лялин собеседник, незнакомый Юрию и даже явно не местного вида, мрачно кивнул. Потом сказал, показав этим, что успел все-таки войти в курс:

– Теперь сыграете.

– Если дадут. – Ляля вздохнула, но уклоняться не стала и быстро вернулась к близкой теме. – Чтобы родить, актрисе нужна смелость. Всегда это не вовремя, не нужно театру, директор сразу с тобой едва здороваются. Не преувеличиваю, честное слово. Театр с потрохами съедает.

– Как и газета, – мрачно кивнул Лялин собеседник.

Тут Гуляев, воспользовавшись паузой, подвел к нему



Юрия.

– Я о вас целый вечер слышу, – сказал незнакомец.

– Правильно, – засмеялся Гуляев. – Я друзей рекламирую, тем более, ты рецензии пишешь, бывает. – И объяснил Юрию: – Не пугайся, он просто проездом. На Камчатке вместе работали, свой человек. Он сейчас из Москвы, на север в командировку. И у него мелкие неприятности, так, Вячеслав?

Газетчик Вячеслав мрачно кивнул. Он был слишком хрупок и светловолос для своей мрачности. И мрачность казалась поэтому немножко наигранной, газетчикам Юрий не верил. Это они все опошлили, слова нельзя сказать, все слова затаскали. Нет, газетчиков Юрий надолго любил, мягко говоря. Хотя скрывал это даже от Гуляева, потому что понимал – есть в этих мыслях что-то тупое и унижительное для него и для Гуляева. Что-то варварское – от непонимания. Вроде того, как Юрию один восторженный зритель сказал после комедии: «А вы, оказывается, комик! Вам бы чуть-чуть подучиться, вы бы в цирке могли Олега Попова заткнуть, честное слово!» А комедия-то была с горчинкой и волновала Юрия именно этим. Он тогда сказал весело: «О, мне бы подучиться, я бы дал на ковре!» А работать потом было неохота несколько дней, из головы не лезло. Что-то тут есть похожее. Не по форме, но по сути.

– Поэтому ты не обращай внимания на его настроение, – закончил Гуляев. – Так, Вячеслав, подтверди!

– Возражения есть? Возражений нет! – мрачно сказал Вячеслав.

– А я вчера первый акт смотрел...

– Вчера? Ой! – Ляля даже закрылась руками и головой затрясла. – Только не говори ничего, все знаю. Безнадежно, да?!

– Нормально, – сказал Юрий. – Уже где-то близко.

– Брось, – сказала Ляля. – Только не ври. Вчера сплошные накладки шли, в пятой картине совсем запуталась, стыдно вспомнить.

– Честно, вполне нормально, – сказал Юрий.

– Я же тебе говорил, – сказал Ляле Герман Морсков и объяснил непосвященному Вячеславу: – Актерский парадокс. Иногда кажется – прямо паришь на сцене, горишь, все великолепно, наконец-то постиг. А за кулисами только глаза отводят и сочувственно суют сигаретку. Или наоборот – вон, как у Ляльки вчера. Ощущение, что завал, пустота, беспомощность. Уползаешь со сцены на ватных ногах, а кругом руки жмут, поздравляют.

– Интересно, – сказал Вячеслав без особого интереса.

– Второе, к сожалению, редко, – вставил Юрий.

– А вы меня не разыгрываете?! – всплеснула руками Ляля, вся просяив. – Я же в антракте даже ревела.

– Знал бы – зашел, – сказал Юрий. Свинство было прямо сразу вчера не подняться к Ляльке в гримуборную, просто свинство. По себе же знаешь, как это нужно, занялся с

собой.

– Ничего, я на нее наорал, – сказал Герман Морсков. – Помогло. Порядки у нас стали: всунут в спектакль, а потом даже не смотрит никто. Как хочешь, так и крутись. Конечно, Лялька переживает. Хуттер хоть бы в зал заглянул, хоть бы глазом.

– Он же вчера на фабрике был, – заступился Юрий.

– Все равно, – сказал Герман. – Хуттеру теперь лишь бы премьеру сыграть, а там трава не расти. Что к десятому спектаклю развалится, это его не волнует.

Хуттер, действительно, на старые спектакли не любит ходить, они его раздражают. Надоели до одури, можно понять. А кто любит из режиссеров? Где ни послушаешь – никто. Герман Морсков, как всегда, пристрастно несправедлив к Хуттеру, не сошлись характерами, пора подавать на развод.

– Вот хорошему рецензенту было бы любопытно проследить за спектаклем, – вслух подумал Гуляев. – За одним спектаклем долгое время. Так сказать, жизнь спектакля. Что в нем растет, как и куда меняется. Пятый спектакль, десятый, сотый...

– Сотый! До двадцатого бы дожить!

– Неважно, – отмахнулся Гуляев. – Важен принцип. Вот это было бы интересно и читателям и актерам.

– Вот ты возьми и проследи, – сказал Вячеслав. – Ты же теперь там близко, вот и займись.

– Слишком близко, – засмеялся Гуляев. – Уже не имею

права. Все равно, что о собственных родственниках в газету писать, не могу. Я от любви как-то слепну.

– Чего там у нас любить? Нашел кого полюбить!...

Это опять Герман. Герман здесь не прижился, не приживется. Ему педагог нужен, несмотря на амбицию, а Хуттеру с ним просто скучно возиться. Хуттер в Морскова не верит, не верит, что из него можно что-то вытащить, любопытное. Герман, несмотря на свою амбицию, пока что зеленый и трудный в работе актер. На сцене он держится в любой роли только первые несколько минут. А потом, будто из него воздух выходит со свистом. И остается только техническая пустота. Германа нужно постоянно накачивать и потуже затягивать камеру, это уже не для Хуттера.

– Я все равно здесь последний сезон, – объяснял Герман непосвященному Вячеславу. – Ухожу в Питер, Гоша зовет, я ж у него на курсе учился.

На мрачного Вячеслава и это, кажется, не произвело впечатления. Возможно, он просто не знал, как переводится «Гоша».

– Интересно, – сказала Ляля Шумецкая. – Сколько в стране театров, а все рвутся в один. Помешались.

– Почему в один? – откликнулся Юрий.

– А по-моему, это нормально, – сказал Герман. – Для каждого из нас – один. А спросить всех – конечно, разные.

– Один, один, – засмеялась Ляля. – В дверях друг друга не передавайте. Как будто больше и уйти некуда...

– Почему же? Уйти в Ярославль к Шишигину. Или к Монастырскому в Куйбышев. Я тебя даже на вокзал провожу.

– Я от Хуттера никуда не пойду, – серьезно сказала Ляля.

– Даже, если умолять будут? – усмехнулся Герман Морсков.

– Все равно не пойду. Я, может, и дура, а без режиссера помыкалась и понимаю.

– Вам никому никуда уходить не надо, – любвеобильно изрек Гуляев. – Я жадный, я хочу, чтобы вы все при мне были. Вы все мне ужасно нравитесь.

– Слышите? – усмехнулся Герман Морсков. – Что я всегда говорил? Я же всегда говорил, что публика дура.

– А штык молодец, – сказал Юрий.

Тут вдруг засмеялся Петя Бризак. Так громко, что все на него воззрились. Но Петя, оказывается, слыхом ничего не слышал. Просто он, наконец, кончил терзать приемник, и работа его удовлетворила. Он засмеялся здоровым смехом честного труженика.

Герман даже сказал:

– Позавидуешь создателям материальных ценностей. А тут, как ни корячься, ничего от нас не останется.

– А дух? – сказал Юрий. – А настроение? Флюиды?

Флюиды тоже передаются, от одной творческой группы к другой и создают в искусстве преемственность, это точно. Иногда вдруг остро чувствуешь за собой века. Вдруг сознаешь, что все-таки ты не лопух на пустыре, а очень культур-

ное растение с предысторией. А потом опять как-то теряешь это нужное ощущение и снова бессмысленно болтаешься на ветру.

– Пленка останется, – вздохнула Ляля. – Успокойтесь. Пленка и дети.

– Правильно, Лялька, – одобрил Герман. – Все основные вопросы детские. Как? для чего? зачем? Потому и неразрешимы.

– А от меня, например, останется пьеса, – вдруг сказал Гуляев. – Я, братцы, хорошую пьесу напишу.

– Чур, мне главную роль, – засмеялась Ляля.

– А я через несколько лет, может, сыграю, – сказал Юрий.

– Что? – сказал Гуляев.

– Просто сыграю, наконец, – сказал Юрий.

– Юрий Павлович, не прибедняйтесь, – усмехнулся Герман.

– Ага, люблю прибедняться.

– Ну вас с вашими сложностями, – сказала Ляля. – Сами себе выдумываете. А вон Попова в «Мещанах» вышла, села, взглянула. И все. Так сыграть – и можно уже умирать. Или как Лебедев закричал, помните? И сейчас слышу...

– «Мещане»! Ты бы еще что вспомнила, – сказал Герман.

– Так я же последние два года и не видела ничего, отстала, сколько в больнице лежала...

Чтобы остановить Лялю на неудержимом пути, Юрий сказал:

– Премьеры, премьеры – только в газетах читаешь и злишься. В отпуск поедешь – театры закрыты, зимой – из репертуара не выдерешься. Вот так и сидим.

– В других городах как-то устраиваются, – сказал Герман Морсков. – Организуют творческие поездки, это на совести главного режиссера, средства могли бы найти. Выбрать три дня и всем вместе рвануть – ну, хоть в Паневежис.

– Ничего себе – хоть! – засмеялась Ляля.

– В Москве, может, давно отшумело. И уже замшело, все уже даже думать забыли. А мы тут прямо обмираем от смелости, от новаторства своего. До Владивостока, я думаю, «Трехгрошовая», к примеру, лет через пять доползет, не раньше.

– Только Дальний Восток не трогайте, – сказал Гуляев. – Вы все равно в нем не смыслите, а нам с Вячеславом обидно.

– Я же к примеру, – сказал Юрий. – Может, там «Трехгрошовая» уже десять лет идет, это все равно ничего не меняет.

– Заболталась! Мне же кормить! – Ляля взглянула на часы и вскочила. – Я уже и так опоздала.

– Проводим, – сказал Герман и тоже встал.

– Возражения есть? Возражений нет! – высказался и Вячеслав. И тоже поднялся.

– Я не могу, – сказал Юрий. – Наташа должна прийти.

– Не волнуйся, мы оправимся, – усмехнулся Герман.

В комнате сразу стало просторно, огромная тахта за семнадцать рублей наличными и книги у стен – быт Гуляева по-

ка не заел. Юрий осторожно взял страшный коричневый чайник, поставил на плиту. Холодная небось прибежит. Уже хотел поинтересоваться мелкими неприятностями Вячеслава, если не секрет, но Гуляев успел спросить первый:

– Что тебе Хуттер вчера после репетиции толковал? Я заглянул в зал – смотрю, он руками машет, а ты вроде с кресла пополз. Решил уже не подходить.

– Так, чуть-чуть прояснили позиции. Кстати, ты репетицию вчера совсем не смотрел?

– Не успел, – сокрушился Гуляев. – Афиша еще не готова к премьере, пришлось в типографию бегать. А что? Неприятное?

Хорошо бы излить душу Гуляеву, но впутывать его – просто свинство. Говорить с ним о Хуттере... Нет, во всяком случае, не сейчас.

– Не знаю, – слабо улыбнулся Юрий. – Я сам еще как-то не разобрался. Рядовой рабочий момент. Когда разберусь, скажу.

– А я тоже слегка запутался, – вдруг сказал Гуляев. – Мне последние два спектакля что-то не очень, ты знаешь. Ну, и я, по простоте, всем, кто спрашивает, так прямо и отвечаю. И на худсовете – помнишь? – тоже выражался довольно ясно. А тут Хуттер меня вдруг призвал и намекает, правда, вроде шутя, что дело-то общее и нужно за него стоять грудью. И никаких там критических слов вроде бы лучше не надо. Можно их друг другу сказать наедине.



– Уже? Это тебе полезно, – усмехнулся Юрий. – А то ты нас все за большое искусство любишь.

– Главное, он, наверно, прав. Действительно, раз я завлит, то должен всю нашу продукцию защищать. Так, что ли? Какая бы ни была продукция. Так или не так? Но тогда какой смысл...

– Давай сейчас об этом не будем, – попросил Юрий. – Я тебя перебил, но давай немножко потом, ладно?! Передохнем.

– Конечно, – сказал Гуляев. – Как-то само получается, извини. Все о театре да о театре. Даже мне скоро надоест. А я, например, сегодня впервые Толстого прочитал – о Шекспире. Крепко. Кстати, Хуттер Шекспира когда-нибудь пробовал ставить?

– Очень кстати, конечно, – улыбнулся Юрий. – Был у нас и Шекспир, все было.

– Опять я, – спохватился Гуляев. – Давай тогда помолчим, что ли.

– Это можно, – сказал Юрий.

Молчать с Гуляевым он любил. Но и молчание сегодня получалось какое-то беспокойное. Гуляев сутуло мотался по комнате, стряхивая длинные руки от плеч, выключил чайник в кухне, постоял у окна. Что-то его сегодня переполняло через край. Без разрядки не обойтись, это Юрий уже понял. Значит, опять будет свою пьесу читать, нужно ему сейчас, чтобы кто-то выслушал новый кусок. Куски пока ничего,

лучше пока не загадывать, чтоб не сглазить. Хочется, чтоб у него получилось. Только трудно настроиться именно сейчас. Но нужно так нужно.

Юрий покорно приготовился, даже сказал сам:

– Ну, давай!

– Что? – будто испугался Гуляев.

– Очередное начало давай, могу внимать.

– А, – Гуляев взмахнул длинными руками, сел и облапил себя. – Погоди, потом. Я тебе вот что хотел сказать, то есть спросить. Прости, глупый, конечно, разговор, но я все-таки спрошу, если ты позволишь...

– Давай, давай, – улыбнулся Юрий.

– Ты к Лене все-таки не собираешься возвращаться?

– Не понимаю. – Юрий даже потряс головой, так он не ожидал, меньше всего Гуляев лез в такие дела. И на Лену совсем не похоже, чтоб вербовала посредников. – Еще не хватало, чтоб мы с тобой то обсудили.

– Конечно, конечно, – даже покраснел Гуляев. – Извини. Ты просто только скажи: да или нет, ты просто не представляешь, прости.

Он запутался и непонятно смутил даже Юрия. Поддаваясь дурацкому гуляевскому волнению, Юрий сказал:

– Ну нет. Если тебе так позарез надо знать.

– Прекрасно! – закричал вдруг Гуляев. – Юрка, дай я тебя поцелую!

Он вскочил, изогнулся, действительно чмокнул Юрия в

уху куда-то. Юрий не успел отстраниться. понять.

– А я все-таки переживал. Хотя у тебя, конечно, Наташа. Но тут Борька – с другой стороны.

– Ты переживал? – Он все равно еще не понял. Не хотел понимать.

– Ну да. Очень переживал. Мы же с Леной любим друг друга, Юрка! – заорал Гуляев. Чего он орет-то? – Уже давно. Уже несколько месяцев юбим.

– А Борька? – спросил Юрий губами.

– Борька! Ты знаешь – я сам даже не верю. Он, кажется, меня принял. Летом вместе в поход пойдем, уже записались. За Борьку ты не волнуйся, се будет.

– Усыновишь, значит...

– Если позволишь.

Глупая красная рыба по имени Юрий вяло плыла по безысходному кругу в глупом красном аквариуме. Зеленая вода давила на нос, на глаза. Не пора ли перевернуться вверх брюхом, так спокойнее.

– Борька же такой ласковый. Я к нему сразу привязался. Даже страшно было – так привязался...

Искренне думал – хоть бы она как-то устроила свою жизнь, сняла это с него. Сняла. Устроила. И Борькину, как же иначе. Гуляев будет сутулый и добрый папа. Кто-то потом найдет, что Борька даже похож на него, копия, так же зеваает или снашивает подметки на тот же бок, знакомые это умеют находить. И почему-то еще обязательно надо потерять дру-

га, прямо Шекспир. Или самому стать обаятельным другом обаятельного семейства. Борька сможет называть его «дядя Юра», почему нет?

– Борька будет у нас в порядке, я чувствую, он уже большой. А потом еще девочку купим, Юрка. Обязательно.

Почему именно девочку? Хотя конечно. Он получил Борьку. И теперь должен еще получить и Розку, правильно, все или ничего. Гуляеву – все.

– Чтобы была похожа на Лену...

До чего же глуп и бездарен бывает счастливый человек, это надо запомнить... лицо и тупой его голос, который слышит только себя. Юрий смотрел на узкое милое лицо Гуляева и сейчас видел его отталкивающим. Тупо дергался нос. Прыгали узкие губы. Слова Юрий перестал слышать.

– Мы обменяем на отдельную квартиру, – издали говорил Гуляев. – Это вполне реально, я уже смотрел объявления...

А он, оказывается, предусмотрительный, подумал и про квартиру. Борька уже большой, не в одной же им комнате жить.

– Юрка, я пьесу такую напишу! Настоящую пьесу! С Леной я обязательно напишу, она в меня верит. Если бы ты знал, как это прекрасно, когда в тебя верят. Мне этого всю жизнь не хватало.

Юрий вдруг ясно услышал, как Гуляев говорит Лене: «Я просто жадный. Все у меня есть, а я хочу, чтоб еще ты у меня

была. И Борька. Видишь, как просто». А она, маленькая перед Гуляевым, смотрит вверх, ему в лицо, благодарно и прямо: «Я тебе верю. Я так тебе верю». Юрий почти застонал.

Ее вера когда-то мешала, путалась под ногами, раздражала своей слепотой и постоянством. Юрий ее сам порвал, вырвался из нее. А оказывается, она все-таки была ему нужна – именно неспрашивающая вера. Просто знать, что она есть где-то. Живет и следит за ним со стороны, украдкой, исподтишка. Ничего не осудит, все стерпит. Бабья вера, из глубины веков. А потом врем, что цивилизованные.

Хотя никогда бы он туда не вернулся, дико спрашивать. Ладно, без тебя решили. Наташе нужно все объяснить. Только не сейчас. И не завтра. Потом. Значит, к Наташе сейчас тоже нельзя, невиноватых больней всего бьем, так всегда бывает. Она сыграла Джульетту. Она сама выбрала между Розкой и Джульеттой. И она права. Господи, все равны...

– Лена меня подняла этой верой, ты понимаешь? Все равно никто не поймет, я сам до себя теперь задираю голову...

– Это ее профессия, – сказал Юрий.

– Что? – не понял Гуляев.

– Верить, – сказал Юрий.

– Тебе неприятно? – наконец понял Гуляев, он мучительно покраснел и съежился. – Прости, я осел.

– Зачем же так сразу...

– Я даже думал, ты будешь рад...

– Я рад, – сказал Юрий. – Я ужасно рад. Я все равно уез-

жаю из города, так что очень стати.

Сказал и неожиданно почувствовал, как что-то внутри отлегло. Только туманно кругом, туманная легкость появилась в мозгах, туманен симпатичный Гуляев, обнимающий себя длинными руками. Как при температуре под сорок. Туманно и отстраненно, будто не о себе речь. Подходяще для крупных решений.

– Как это уезжаешь? Когда?

– Так, – сказал Юрий. – Засиделся. Обуржуазился. Наверно, завтра.

Гуляев даже не сказал «чепуха». Только просил:

– Куда?

– Так. Попробую.

– Ждет? – усмехнулся Гуляев, усмехаться он не умеет, не его это. Хотелось говорить как-то иначе, добрее и глубже. Но по привычке разговор получался скачками, с ямами-недомолвками. Юрий физически чувствовал, как бравадно-фальшиво это сейчас звучит.

– Ага. Лягу у порога и буду лежать.

– А он скажет: лежи, место не пролежишь.

– Мне же не играть, – сказал Юрий серьезно, так, как давно было нужно. – Мне только хоть год бы там повариться. Посидеть на репетициях. Я бы тогда понял что к чему. Как же все это

делается.

– А здесь ты не понял...

– Нет, здесь не понял. Уже не понял. Перестал понимать.

– Понятно, – сказал Гуляев. – Только лучше бы нам с Леной уехать, гораздо проще.

– Нет, – сказал Юрий. – Я без вас решил, вы тут ни при чем.

Еще не хватало, чтобы он спросил про Наташу. Но Гуляев взглянул длинно и грустно, не спросил.

– Скандал же будет в театре...

– Переживем, – бодро сказал Юрий.

– А если там ничего не выйдет?

– Выйдет, – сказал Юрий.

– А если все-таки?

– Тогда уеду куда-нибудь, где я позарез нужен.

– Ты здесь нужен.

– Нет, – сказал Юрий. – Это исключено.

Так душевно поговорили. Ладком. Можно уже встать и уйти, все обошлось лучшим образом. Пора уходить. Больше сюда уже не попасть, нужно запомнить пузатую тахту за семнадцать рублей и книги вдоль стен. И винюватые веки Гуляева, жадного до жизни. Пора. Смешно только, что идти сейчас, собственно, некуда. В гостиницу тоже не впустят с местной пропиской. Юрий уже знал: как только он выйдет из этой комнаты, все будет кончено. С Хуттером. С городом. Вообще. Начинать нужно с нуля, кажется, так.

Поэтому Юрий встал, сходил в кухню за коричневым чайником, медленно налил полный стакан. Даже обжегся.

– Сахару нет, – виновато сказал Гуляев.

– Ты чайник купи человеческий, ладно?

Очень важно, конечно. Чайник – это главное.

– Куплю, – сказал Гуляев. – Прости, зачем я сегодня начал. Ведь не хотел же! За язык прямо дернуло. Лена все хотела сама сказать, так решил – лучше я. Даже не думал, что ты...

– И не думай, – оборвал Юрий.

– Я себе никогда не прощу, если ты сейчас из-за нас сорвешься. Это будет величайшая глупость. Величайшая!

– Да не из-за вас, – сказал Юрий. – Из-за всего. У меня давно зрело, иди к черту.

Помолчали.

– Развод я не задержу, – сказал Юрий. – Передай там.

– Разве в разводе дело? – Гуляев отмахнулся.

– Все-таки, – сказал Юрий, прихлебывая.

Просто шлепнут в паспорте штамп. Блям. С лиловыми краями. И Борька получит другую фамилию, очень просто. По собственному желанию. Когда Юрий еще бегал для Борьки в молочную кухню и полная девушка выкликала там из окошка: «Мазин, Боря, семь месяцев», – Юрий смотрел вокруг гордо. Он даже делал вид, что читает стенную печать и совсем зачитался, чтобы его выкликали громко. Ему нравилось продолжаться в веках. Но оказалось, что он продолжил Гуляева.

Мать завтра будет приятно поражена, у нее, конечно, было



предчувствие. Он свалится на голову даже без телеграммы, этот всегда неожиданный сын. Куда же теперь он ее заберет? Опять некуда.

– Ну, я пошел, – сказал Юрий.

Тянуть дальше было уже двусмысленно.

– А если Наташа придет?

– Она давно дома, – уверенно сказал Юрий. Хотя совсем не был уверен. Сил сейчас не было давать Гуляеву семейные инструкции.

– До завтра?! – почти попросил Гуляев.

– Конечно, – сказал Юрий.

Завтра он все провернет, обойдется без встреч.

Гуляев, несмотря на протесты, зачем-то вышел даже на улицу. Стоял у подъезда и смотрел вслед, ах-ах... Снег садился ему на голову. Простудится еще. Юрий спиной чувствовал, как он стоит и смотрит. Издержки взаимопонимания, сам виноват.

У телеграфа Юрий нашел автомат, который работал. Еще везет в мелочах. Две копейки едва пролезли в замерзшую дырку. Наташа долго не подходила, Юрий чуть уже не повесил трубку.

– Ты? – наконец сказала она. Голос был близко и звал. На секунду показалось, что слухи о моей смерти несколько преувеличены, так, кажется, Марк Твен пошутил. Вспомнилось. Цитаты так въелись, будто уже и нет своих мыслей, как нас ни стукни.

– Ты что же к Гуляеву не пришла?

Пришла бы, и ничего не было. Спал бы сегодня в тепле и в холе. Было бы завтра. Или послезавтра. Все-таки не сегодня.

– Просто неважно себя почувствовала, – сказала Наташа после небольшой паузы. Она сказала легко, но где-то, за тоном, скользнула вдруг непонятная значительность. Как тень чего-то. Может, просто показалось.

– Что с тобой? – спросил Юрий.

– Да ничего. Не беспокойся. Я просто легла. Ты скоро?

– Нет, – сказал Юрий. – Я просто на улице и сегодня домой не приду. Так что ты не волнуйся.

Очень заботливо, с души воротит. Не смог даже промолчать.

– Холодно, – сказала Наташа.

– Ничего. Я буду бегать.

Она повесила трубку, так ничего и не спросив. Задышала и осторожно повесила. Юрий увидел, как оранжево вспыхнули листья ее пижамы, потом она погасила свет. Теперь будет думать, дурак. Все равно. Янтарное ожерелье он ей так и не купил, янтарь – это Наташин цвет. Хуттер все обещал гастроли в Прибалтике, понадеялся.

Стоять холодно. Наташа права. Хоть бы перчатки взял. Юрий засунул руки в карманы, пошел на кошачий глаз светофора, все-таки цель. Светофор подмигнул, пропуская машины. Машины буксовали на наледи. Народу на улице почти не было, смотрят сейчас телевизор, пока Лена не скажет всем «спокойной ночи».

Город холмист, и бродить по нему приятно. Если бы просто бродить. Для души. Если бы...

Почему-то хотелось цветной толпы. Чтобы у кого-то просить закурить и вообще от самого себя затеряться.

Пятую картину с Наташей так и не попробовал по-новому, с Морсковым у нее не получится, не тот партнер. Для партнера главное – живые глаза. А у Германа в глазах светится только прозрачная любовь к себе, талантливому. Непробиваемая любовь. Впрочем, Ляля вон как-то пробивает.

Почему-то ноги все кружат по центру, который уже раз обошел. Холодно. Наташа права. А идти все-таки некуда, нельзя сейчас домой. Это будет еще хуже, если пойти. На вокзал разве. Мысли как-то соскальзывают, не удерживаясь

ни на чем. Глупо крутится в голове первая Борькина фраза, так она поразила, часто с Леной смеялись. Борька взял тогда Юрия за лицо обеими руками, сжал ему щеки, приблизил к себе поближе, у Борьки у маленького была такая привычка. Значит, особого внимания требует. И сказал Юрию очень внятно: «Папа, давай... валенки... купим!» Первый раз у Борьки получилось так складно, долго он шепелявил и отделивался от мира междометиями. А тут вдруг сказал с чувством: «Давай валенки купим!» Была как раз отчаянная жара, середина июля, самое время подумать о валенках. Слышать тоже нигде не мог, откуда он ее вынул, такую первую свою фразу? Неужели с зимы застряла, когда еще ногами сучил, как паук? Кто знает, что запоминают грудные, пуская молочные слюни, это их тайна.

Да, Борька. Вот тебе к Борька. Думал – наладится, утрясется, временные затруднения.

Валенки бы сейчас очень не помешали.

Противным ледяным светом светилась над головой вывеска «Гастроном № 1». Не в ногу со временем, назвали бы «Счастьем».

Все вспоминается сегодня первый спектакль, который делали с Хуттером. «Миллионерша». Хуттер тогда был драчлив, придумал спортивное оформление, ринговые веревки перепоясали сцену, гонг отбивал картины. Жизнь – борьба, так это из них всех тогда лезло: «и все прояснится открытой борьбой – друзья за тобой, а враги – пред тобой...» Хотя ши-

рокому худсовету долго пришлось объяснять, что и зачем. А зрители приняли на ура. Город был молодежный, и спектакль молодежный, внеплановый, ночами работали. Миллионершу играла Риточка Калининна, девчонка еще. Шоу такой не предусмотрел. Где же она теперь? Кажется, в Ташкенте.

Лучше всего, как всегда, помнишь курьезы. Как Риточка объяснялась с партнером почему-то на шведской стенке. Юрий смотрел сбоку, как ловко она по ней лезет, и небрежно, для разминки, чесался о боксерскую грушу, перчатки роскошные тогда у него были. А в самый патетический момент, уже на прогоне, Риточка вдруг уселась на этой стенке верхом, уронила руки и громко, по-детски, спросила в зал Хуттера: «Виктор Иванович, так все-таки я люблю его или нет?» Все засмеялись, в зале сидели болельщики. А Хуттер крикнул азартно: «Смелее! Не сомневайся! Ты любишь в нем примитив! Первобытную цельность! Ты просто ему завидуешь!» И засмеялся сам громче всех. «Это же не прочтется», – важно сказала Риточка. И полезла вниз. А помреж в это время уже дал круг. Круг ехал со скрежетом, и даже этот скрежет казался тогда прекрасным. И на Хуттера все смотрели влюбленными глазами.

Пока жив, все впереди. Неправда, уже тридцать четыре. Осталось несколько лет, когда еще можно сделать скачок. Сказать, если есть что сказать. Если вообще можешь что-то сказать.

Опять этот «Гастроном» номер один. Центральный. Что-то с ним будто связано. Квартира восемь, три звонка. Кажется, так. Отпечаталось. Не думал, что пригодится. Так скоро. Сегодня же. В квартире номер восемь никто никому не объясан. И объяснять ничего не надо. И нет общих воспоминаний. Кроме одного разговора. Просто – шел мимо и заглянул.

Юрий посмотрел на часы. Половина двенадцатого, время для театральных людей вполне пристойное. Для визитов. Зайти? Три раза нажимая звонок, он все еще колебался.

Открыла сама Ольга Васильевна, если б соседи, он бы ушел. На ней было черное платье с высоким воротом, черное ее неожиданно молодило. Юрий даже не сразу узнал.

– Юрочка, вот молодец, заходите.

Она была бы еще милостивой, если бы не выражение какой-то насильственной оживленности. Даже дома. Хотя здесь она выглядела все же спокойней. И кажется, искренне обрадовалась ему.

– Не очень поздно для вас?

– Что вы, Юрочка! Я раньше часа давно не ложусь.

– Тогда погреюсь, – улыбнулся Юрий.

Она пропустила его вперед. Юрий вошел в комнату, как входит человек в несомненную пустоту, наедине сам с собой, не следя за своим лицом. И вздрогнул, натолкнувшись на взгляд. Впервые он вдруг ощутил чей-то взгляд, как рапиру, выставленную навстречу. От неожиданности, что ли.

За большим, очень семейным столом лицом к Юрию сидел дядя Миша, твердо положив локти на скатерть. Стояла банка с брусничным вареньем. Чашки, кофе в которых еще дымился. Попал.

– Рад вас приветствовать, – сказал дядя Миша.

Рапира медленно истаяла в воздухе, оставив смутную настороженность. Тесен мир при тихой погоде, снова почти цитата.

– Случайно забрел, – сказал Юрий. – Холодьюга.

– Можно и не случайно. Не возбраняется.

Дядя Миша крепко ставил слова, как локти. И даже была в них уверенная насмешливость, которая удивила Юрия. Будто он отвечал здесь за что-то и это давало ему силу. В театре дядя Миша был суетлив на слова и движения, по крайней мере Юрию всегда так казалось. И мешало относиться всерьез к дяде Мише и к его местному.

– Юрочка, я нарочно не предупредила, – сказала Ольга Васильевна. – А то бы еще сбежал.

Она улыбнулась почти свободной улыбкой.

– Он вроде не из пугливых, – усмехнулся дядя Миша.

– Сейчас свежий кофе сварю. По-турецки. Меня один армянин научил, вот попробуйте.

– Подожди, Ольга, – остановил ее дядя Миша. – Это уж без меня, ладно? Я уж сегодня на-пробовался, до утра не заснуть. Мне пора.

– Как хочешь, – легко согласилась она.

– Не так хочу, как пора.

Он улыбнулся с насмешливой ласковостью, такой улыбки у дяди Миши Юрий тоже не знал. И еще сказал Юрию:

– Сам за часами следи, она же только с дежурства. И завтра опять с утра.

– Пожалуйста, не командуй, – сказала Ольга Васильевна.

– Если над тобой не командовать, то опять свернешься. И не смоли на ночь.

– Я режим не нарушу, – стесненно пошутил Юрий.

– Надеюсь.

Дядя Миша еще кивнул Юрию от порога, вышел, не обращившись. Но ощущение рапиры, мелькнувшей еще раз, долго витало в комнате.

– Строгий, оказывается, – сказал Юрий, когда она возвратилась.

– Если б не Миша, я бы пропала, – покорная оживленность снова застыла на ее лице, будто маска. – Вот так, Юрочка, и бывает. Десять лет в классе рядом сидели, нет, был тогда не нужен, только смеялась. Он и женился со зла. А как заболела туберкулезом, так все друзья растеклись куда-то. Дела у всех, семья, а тут надо возиться. Одна осталась. Мишу-то сколько лет до того не видела, только на сцене. А услышал, сразу пришел. И в больницу устроил. И в Ленинград возил. И потом в леспромхоз, на мед, тоже он. За уши вытащил. И дома небось всякие неприятности были из-за меня, он разве скажет. Вот так.



– У нас его уважают, – сказал Юрий, чтобы сделать ей приятно.

– Кого же еще уважать, – кивнула она.

И снова потянулась за папиросой. Юрий щелкнул зажигалкой. Придержав его пальцы рукой, осторожно прикурила. Объяснила, как извинилась:

– Боюсь почему-то огня из чужих рук.

– Со школой-то ничего нового?

– Нет, обещают с нового сезона, Миша как раз и пришел обрадовать. – Она улыбнулась невольному «сезона», неучительскому, уже театр. – В третьем микрорайоне десятилетку откроют и обещали твердо. Пятые классы пока.

– Вот видите, все устроится, – сказал Юрий.

– Еще не верю, – сказала она.

Затянулась, покашляла, съежилась. Неприспособленная какая-то, от такой не уехать бы, не Наташа. Смешные мысли, отбросить можно, а уже мелькнули.

– А теперь даже сама боюсь. Столько лет не работала в школе. Миша говорит – ерунда.

– Конечно, – кивнул Юрий, думая, что ей будет трудно.

Что-то она, видать, растеряла, пока болела и мыкалась. Если бы крепко схватить за плечи, встряхнуть, все бы стало на место. Или кажется? Кто-то должен встряхнуть и остаться рядом, вот что надо. Это им всем надо, противно подумалось – «им всем», тоже мне – высшая раса, сам бы не отказался, чтоб кто-то встряхнул. Но никто не придет и не встряхнет.

Сколько ей – сорок семь, восемь?

Она докурила почти до бумаги, сказала повеселей:

– А вы, Юрочка, с моей ученицей, оказывается, знакомы.

Юрий с некоторой натугой изобразил заинтересованное внимание. Как-то сейчас не до учениц.

– Разве?

– С Лидочкой, она теперь Ященко. Вспомнили?

– Ну конечно. Как же иначе, мир тесен, даже при наших просторах и миллионах.

– Лучшая была моя ученица, стихотворения с одного раза запоминала.

– Хутгер слушал сегодня. Заинтересовался.

– Знаю, она потом забегала. Я ей говорила, все вроде ей неудобно. И Миша предлагал повести познакомиться. «Нет, – говорит, – только поставлю вас всех в неудобное положение, может, и нет ничего, без блага уж как-нибудь».

– Чрезмерная щепетильность – почти порок, – усмехнулся Юрий.

– Не надо, Юрочка, – попросила она. – Вы так не думаете, это пусть Морсков говорит.

– Шучу, – сказал Юрий.

Она опять вспомнила кофе по-турецки, дался ей этот кофе. Ушла готовить. Впрочем, перед ночной прогулкой не помешает, тепла хоть подкопить изнутри. Глаза чем-нибудь занять, чтобы не думать. Встал. Прошелся. На шкафу обнаружил пачку газет. Взял сверху. Оказалась «Советская куль-

тура», тоже читиво. Самое актуальное сейчас – на последней странице. Ага, вот именно.

«Музпедучилищу срочно требуется теоретик – специалист для преподавания анализа музыкальных форм».

Не совсем то. Хотя приятна нужда в теоретиках. В наш практический век.

«...объявляет конкурс на вакантные должности ответственного лирического тенора, главного машиниста сцены...»

Хорошо быть ответственным тенором, делать ножкой и короткими ручками ловить букеты из зала. Недостигаемо. На машиниста тоже не тянем, не тот апломб, не та подготовка. Вот уже ближе:

«Великолукскому театру драмы срочно требуется ведущий актер на роли Нила („Мещане“), Годуна („Разлом“»).

Ишь, срочно. Горят голубым огнем. Не удержали ведущего, пожалели десять рублей добавки, не нужно жадничать. Или морально разложился, за это, впрочем, не гонят. Или Хуттер переманил. Не тянет почему-то в Великие Луки, можно сказать, не влечет. Кто же там главным, не вспомнить.

Спрос, однако, есть. Еще кто? Еще, например, Чимкент.

«Чимкентский театр драмы объявляет конкурс на замещение штатных и вакантных должностей творческого состава на роли: социального героя высшей и первой категории, молодой героини первой категории, молодого героя первой или высшей категории (плана Ромео), режиссера-постанов-

щика».

Уборщицу они, значит, найдут на месте. Полное обнищание в братском Чимкенте, где же это на карте? Требуются герои. Требуются героини. Ухо привыкло, а вообще смешно. Единственное место в мире осталось, где каждый запросто знаком с героиней и спит на одном диване-кроватьке с героем плана Ромео. Театр.

Посмотрим еще, нам не к спеху.

«Амурскому театру кукол срочно требуются артисты-мужчины».

По существу, мужчиной Юрий себя все еще чувствовал, но не был уверен, что в роли амурской куклы он будет так безусловно счастлив. Больше ничего «Культура» не предлагала, жаль.

Он перечитывал объявления четвертый раз, когда в комнате, наконец, остро запахло турецким кофе.

– Не знаю, как вам понравится, Юрочка.

Насчет кофе последние годы развелось много специалистов, каждый морщится на рецепт другого. Один добавляет соль, другой – сахар в пропорции, третий ждет, пока убежит на плиту, еще кто-то настаивает только на шкурке лимона. А смешай чашки, автор нипочем не найдет своей: любой пьем, лишь бы покрепче. Наливаемся черным кофе и глотаем снотворное. Тем и держимся.

Она налила полную чашку и сверху бухнула еще ложку гущи, армянин у них в леспромхозе, оказывается, считал это

главным вкусом. Непривычно. Пить можно, но без гущи было бы лучше, путается под языком.

– Ого, обжигает...

Ольга Васильевна сразу обрадовалась:

– Я научу Наташеньку. Это же просто.

– Наташа не кулинар, – сказал Юрий. – Проще – меня.

– Нельзя с одного человека все спрашивать. – Она отнеслась как-то очень серьезно. – Наташенька такие роли играет, ей на кухне нельзя возиться, вы же сами понимаете, Юрочка.

– Понимаю, – сказал Юрий. – А есть-то надо.

– Конечно, тяжело, оба допоздна на работе, все по столовым. А Наташеньку вам надо беречь, вы покрепче. И пара у вас такая хорошая, редкая пара по теперешним временам, смотреть приятно. Как вы друг друга ждете, как всё. Ко мне бы хоть когда днем зашли, у меня суп всегда есть, накормлю с удовольствием, все равно же варю, дурная привычка. На одну, а варю. Вы заходите с Наташенькой, я всегда дома, если не на дежурстве.

– Поздно, Ольга Васильевна, – вдруг сказал Юрий.

Честное слово, он не хотел. Вдруг прорвало, неожиданно, против воли. Весь вечер были челюсти сжаты, он так их и чувствовал: сжаты, аж затекли. Вдруг прорвало. И все рассказал, без единого вопроса. Конечно, личное. Не о Хуттере же. Все рассказал. Про Лену, ни с кем не говорил здесь о Лене. Про Борьку тем более. Даже назвал Гуляева. Рассказывал с подробностями, почему-то болезненно волнуют имен-

но подробности. Как Борька сказал: «Кроме тебя, что ли, нет других родителей». Юрий краснел, вспоминая свою радость, а Борька имел в виду Гуляева. О Наташе только не смог, даже имени не назвал. Чем больше не говорил, тем яснее. И ему и ей.

Потом она сказала:

– Тут, Юрочка, сплеча ничего нельзя рубить.

Это было уже о Наташе.

– Не знаю я сейчас ничего, вот что я знаю.

Почти афоризм. Поговорили. Теперь нужно быстро уйти в ночь, чтоб хоть кончить достойно. Без размазни. Хорошо подумал, но не пошевелился. Потом она добавила гущи потурецки. Юрий занялся кофе, все-таки дело.

Говорить он больше уже не сможет. До смерти. Вулкан извергся и потух, серая лава бездарно стекала по склонам, вдруг Аркадий, не говори красиво», но иначе не выходит, привычные прятки.

– Сегодня вы здесь останетесь, – сказала Ольга Васильевна. В голосе ее Юрий впервые услышал твердую нотку, чужая судьба мобилизует. – Раскладушка у меня есть. А завтра посмотрите. Утром, Юрочка, все другое, я знаю.

– Пойду, – слабо сказал Юрий.

– Куда вы пойдете? Я вас даже не пущу, двадцать пять градусов. Я вас не пущу силой.

Они нехотя посмеялись над «силой».

Раскладушка встала удобно. Юрий уперся ногами в горя-

чую батарею, сладко заныли пальцы. Закрыл глаза на минуточку.

Проснулся он в полной темноте. С трудом сообразил – где. У стены, на высокой кровати, в трех шагах от него, лежала женщина, с которой он был неожиданно откровенен, как ни с кем. Почти до конца. Большие волосы рассыпались по подушке, красивые волосы, днем она убирает их безобразным узлом. Спит. Он представил ее лицо насильственно-оживленное и все-таки еще миловидное. Приятно смотреть на ее лицо.

Она шевельнулась на высокой кровати.

– Ольга Васильевна...

– Спите, – сказала она бессонно. – Еще только полтретьего.

– Я уж вроде выспался, – сказал он, поднимаясь.

Зашуршали спички, она закурила.

Говорить не о чем. Не к чему.

Юрий стоял у окна, завернувшись в одеяло, дурацкая фигура. За стеклами слепо рушилось небо. Снег. Потеплеет, наверное. Глаза были большие, тяжелые, собственные глаза давили. Закрыл, опять открыл. Стоять стало совсем глуло. В чужом одеяле и в чужой комнате.

Завтра все будет другое, утром.

Раскладушка противно заныла, когда он улегся.

Заснуть удалось нескоро. Но все-таки Юрий заснул раньше, чем она. Она все курила, пока папиросы не кончились.

Наутро Юрий пришел в театр очень рано. Как в чужое место. Пустой коридор. Толстые, холодные театральные двери. Бронированные, как на атомной электростанции, не бывал на атомной. Открыл плечом. Прошел за кулисы, в зал. Зал, затянутый сиротским чехлом поверх кресел, казался обезлюдившим навсегда. Сдвинул чехол, уселся в седьмом ряду у центрального прохода. Любимое место Хуттера на репетициях. Закурил, хоть это и привилегия режиссера – в зале курить. Сделал себе исключение, пока никого нет.

Когда Борька был маленький, приходилось иной раз таскать и на репетиции. Тогда Борька театр любил, бежал сюда рысью. Катился впереди Юрия, так переваливался, будто катился. Кричал из зала на сцену: «Доброе утро!» Хотя обычно был вечер. И все ему улыбались и махали, трогательный был парень. Иногда их штук шесть в зале сидело, мелюзги. Вопреки всем инструкциям, а куда денешь, ясли и садики к актерам не приспособлены, работают дневным расписанием. Как-то Борьке никто не ответил на прочувствованное приветствие, не до него было. Борька вцепился Юрию в руку, спросил со страхом: «Они меня все забыли, да?»

В этом году Борька в театре не был ни разу. Даже на елку идти отказался, притворился больным. Ничего, с Гуляевым снова театр полюбит. И на репетиции будет бегать. И суту-



литься под Гуляева, ужасные они обезьяны в одиннадцать лет. При Борькином росте это будет картинка, если ссутулится.

Нужно было утром зайти домой, но тогда уже не уехать. Страусиная тактика, перед Наташей стыдно. А что же иначе? Как? Ясно только в метро: написано «вход», написано «выход». И идешь, нет безвыходных положений.

Рядом бесшумно, как всегда, возник Хуттер. Утро у него начинается рано, задолго до репетиции. Утром Хуттер обходит вспомогательные цехи, торопит пошивочный, придирчиво щупает новый парик в парикмахерской, ругается с театральным сапожником. Сапожник-то клад, только «халтуры» чрезмерно набирает со стороны – подбить, пришить, – все актеры к нему идут и знакомых своих еще тащат. Утром Хуттер выбивает из выспавшегося директора черный бархат для близкой премьеры и сидит с художником запершись, пока никто не мешает. И почти всегда успевает заглянуть в пустой зал, это у Хуттера ритуал, обходит владенья свои. На что и было рассчитано. Говорить в зале почему-то легче, чем в кабинете.

– Ну, ты зверь, – засмеялся Хуттер. – Днюешь и ночуешь на трудовом посту, меня обскакал. Опять идея?

– Да нет, – сказал Юрий. – Какие уж тут идеи?! Сплошные практические соображения.

– Это иногда ценней, – засмеялся Хуттер. – Я так и думал, что ты мне сегодня выдашь что-то практическое.

Хуттера долго не будет хватать, даже страшно отрываться. Даже иногда кажется, может, ты только с ним и можешь? Может, это Хуттер, зная тебя и любя, просто нажимает на нужные пружины в тебе, и тогда ты звучишь. Только в его руках. И еще думаешь, что тебе мешают звучать в полный голос. Стоп. Ерунда какая. От таких мыслей надо бежать без оглядки. Самому себе доказать.

Я же чувствую, что могу. Могу!

И Хуттер верит, что можешь. И дает мочь. Но уже: «Играй, голубчик, как хочешь, не так, так этак, я тебе верю. Только не нужно новых решений, не укладываемся. А так – верю». Опять эта вера на каком-то этапе ставит тебе подножку. Не только в любви. Тепло так и незаметно ставит. И все начинают тебя очень любить в твоём городе, а на гастролях уже поменьше, не понимают, значит, чужие. И уже никуда не хочется ехать из твоего города, страшная штука – привыкание в искусстве.

– Это мы сколько же лет уже вместе?

– Порядочно, – сказал Хуттер. – Но до золотой свадьбы у нас еще времени хватит.

– Хорошенького понемножку, – усмехнулся Юрий.

– Опять настроения?

– Нет, – сказал Юрий. – Просто решил уехать, ставлю главного режиссера в известность.

– Когда? Не сегодня, надеюсь?

– Именно сегодня.

– Люблю добрую шутку, сам шутник. – Хуттер засмеялся почти естественно, загубил он в себе актера. – До конца сезона мы с тобой завалены по уши, отложим на лето эту увлекательную беседу.

– Не получится отложить.

– В середине сезона такие вещи не делаются.

– Ты делал. И не раз.

– Предположим. Только не забывай, что ты занят почти во всем репертуаре, это другое дело.

– Ничего, – сказал Юрий. – Морсков введется.

– Чепуха, – сказал Хуттер. – Мне самому сколько раз хотелось стукнуть директору заявление. Даже в кармане носил. Показать?

– И все-таки я уезжаю сегодня...

– Вы конкретно чем-нибудь недовольны? – пенсне официально блеснуло наконец-то.

– Не в этом дело, – сказал Юрий.

– Тогда в чем? Объясни, что случилось. За моим широким крестьянским лбом как-то плохо укладывается.

– А я знаю, – сказал Юрий.

– Что знаешь?

– А я уже знаю, что там, за твоим широким крестьянским лбом, понимаешь? Я уже знаю, что ты мне дашь – сегодня, завтра, послезавтра. И мне мало этого.

– Правда? – тихо сказал Хуттер.

Но Юрий уже завелся.

– И ты уже знаешь, что мне мало.

– Нет, – сказал Хуттер. – Честное слово, нет.

Он отодвинул чехол, сел неудобно, на ручку кресла, снял пенсне и потер переносицу. Зрачки у Хуттера были большие и беспомощно голые без обычных стекол. Он долго и сосредоточенно смотрел вперед на пустую сцену, потом сказал тихо:

– Мне, например, с тобой по-прежнему интересно работать. А как же актеры всю жизнь работают с одним режиссером?

– Не знаю.

– Спасибо за откровенность, – усмехнулся Хуттер. – Всегда приятно знать, что думают о тебе ближайшие соратники.

– Мне с тобой очень трудно расстаться, – разом устал Юрий. – Труднее, чем тебе со мной.

– Поэтому ты и едешь, – сказал Хуттер. – Я понял.

– В Японии, кажется, когда человек добьется минимальной известности, он вдруг меняет имя и все начинает сначала.

– Поучительно, – сказал Хуттер. – Про Японию это ты сейчас придумал? Впрочем, неважно, важна мораль. И куда же ты?

– Посмотрю...

– Не хочешь говорить.

– Еще не решил, – сказал Юрий.

– Обрато будешь проситься – не возьму, учти.

– Ага, – кивнул Юрий. – Это уже с кем-то было.

– Шучу, – сказал Хуттер.

– Не шутишь. Но я не попрошусь. Ты все равно не поймешь, но сейчас я иначе не могу. Никак. А года через четыре я все-таки сыграю, вот увидишь.

– Не забудь пригласить, – сказал Хуттер. – А других причин нет, извини, конечно, за настойчивость?

– О других не надо.

– И Наташа едет?

– Я один пока еду, – сказал Юрий.

– Ты все-таки учти, – сказал еще Хуттер, – пока мы разговариваем один на один и никто нас не слышит, так что у тебя есть еще время. Без документов, кстати, не так уж приятно устраиваться. И не все любят человека с хвостом.

– Учитываю. Но трудовую книжку вы в конце концов вышлете, всем же высылают. А деньги за Сямозеро, остаток, я переведу из Москвы.

– Из Москвы?

– Залечу к матери, – сказал Юрий. – Зайду в министерство.

– Как знаешь, – сказал Хуттер официальным голосом, хоть и на «ты».

Он медленно протер стекла и надел их обратно, глаза стали сразу обычные. Уверенные и хитрые. Хуттер слез, наконец, с ручки и сел в кресло, поглубже. Потом еще подвинулся вглубь. Казалось, он устроился тут до вечера.

– Я сейчас за билетом, – сказал Юрий. – Потом, конечно, зайду к директору, и еще увидимся.

– Надеюсь, – сказал Хуттер на одной ноте.

Юрий поднялся на сцену из зала и сразу, сбоку, за правой второй кулисой увидел Наташу. Она стояла на том самом месте, где позавчера, перед выходом в третьей картине, Юрий шептал ей в ухо: «Сегодня на тебя особенно все оглядываются. Почему бы это?» А Наташа смеялась и даже пропустила сигнал помрежа на выход. Но сейчас об этом подумалось как-то вяло, будто было с другими.

Юрий шагнул в полумрак и молча взял ее за руку. Не под руку даже, а за ручку, как водят детей. И так вывел ее в коридор. Наташины пальцы слабо шевельнулись в его ладони и остались лежать очень тихо. В коридоре она осторожно высвободила руку.

– Я все слышала, – сказала Наташа.

Сегодня она перекрасила губы, губы слишком яркие. Волосы, поднятые над головой высоко и пышно, отливали на свету янтарем. Горячо плавилась на свету. Свитер делал ее особенно легкой, свитера ей идут. Просто Наташа умеет носить, это не Лена. Хоть сейчас-то, пожалуйста, без сравнений.

– Тем лучше, – сказал Юрий.

– Я все-таки думала, ты утром зайдешь.

– Я хотел, – сказал Юрий правду.

– Я, конечно, держать тебя не могу, если ты решил. Тем более что я даже не знаю – почему.

Она сделала длинную паузу, но Юрий молчал. Голос у Наташи был, как обычно, низкий и теплый, просто у нее такой голос. Почти как обычно, только слова немножко растягивала, она на премьере всегда чуть растягивает слова. Наташа сильная, ничего.

– Так вдруг. Еще вчера даже ничего.

– Как-то сразу решилось, – сказал Юрий. – Прости...

Как нелепо прозвучало это «прости», самого покорило.

– По-моему, нам все-таки нужно было поговорить. Как ты сам считаешь? В любом случае.

– Конечно. Не сейчас... – сказал Юрий. – Я тебе напишу.

– Ну да, – бесцветно улыбнулась Наташа чересчур яркими губами. – Ты меня выпишешь срочной почтой.

Брехт, «Трехгрошовая опера», – хоть бы она-то не говорила цитатами, не нужно ей.

– Пройдемся немножко, – сказала Наташа. – До репетиции еще почти два часа. Я тоже не ела. И поговорим.

– Не нужно, – сказал Юрий, получилось резче, чем думал. – Это ничего все равно не изменит.

На секунду мучительно захотелось схватить Наташу за плечи, все пошвырять в чемодан, уехать вдвоем на остров Вайгач, нет, даже не уехать, вдруг перенестись, вылезти из старой кожи, как змей, и начать новую жизнь.

Желание это на мгновение оглушило. И медленно умерло в нем, оставив в костях усталую ломоту. И вялость.

– Что бы я ни сказала? – уточнила Наташа.

– Сейчас да, – с трудом собрал мысли Юрий.

Мысли крутились все мелкие, как у засыпающей мухи. Какие-то вокруг да около. Подходящее состояние для свершений. Кофе бы, что ли, действительно, выпить. Дегтярного, по-турецки закусив гущей.

– А что ты хотела сказать? – спросил он.

– Нет, ничего. Особого значения не имеет.

В лучшие времена Лена бы устроила сцену веры и самопожертвования – куда угодно, все брошу, делаешь, значит, прав, без вопросов, бог всегда прав. А теперь прав жадный Гуляев. Наташа такую не устроит, он так и думал. И все-таки зайти сегодня домой не хватило мужества. Потому что Наташе надо все объяснять. Про Борьку. Про Хуттера. Обязательно – про Хуттера. Все, что думал. Хуттеру она верит, пускай. Нельзя заражать неверием.

– Я напишу очень скоро. Через несколько дней.

Просто сейчас ему нужно отойти в сторону и подумать. Совсем одному. Именно сейчас. Не вовремя, но тут время не выбирают.

Юрий протянул руку. Наташа чуть отодвинулась, просто переменяла позу. Страшно она отодвинулась. В пустоту. Будто рядом уже никого.

– Я сначала должен один, – почти попросил Юрий.

– Конечно, – кивнула Наташа. И пошла.

Юрий стоял у окна и смотрел, как она уходит. Как гаснут в коридорной тени желтые волосы. Как легко притален мох-



натый свитер. Как узко, будто по одной половице, ступают длинные ноги, на которые оглядываются всей улицей. Долго еще будут оглядываться, сознавать это приятно даже сейчас.

Опять поднялось изнутри – догнать, схватить. Но уже слабее.

Наташа свернула к выходу. Хлопнула дверь.

Юрий повернулся, уперся в стекло лбом. Долго так стоял. Уже мимо стали ходить, кто-то здоровался.

Билета еще нет, вот что надо.

Девушка в железнодорожной кассе сказала не глядя:

– На сегодня нельзя, только за час до отхода.

– Вы только посмотрите на меня, – сказал Юрий противным актерским голосом, проверенным на сфере обслуживания, через силу включился. – Я же весь в ваших руках.

Девушка хмыкнула, но взглянула, что ей там послала судьба. И сказала уже совсем другим голосом, богатым полутонами:

– Правда же, нет. Только за час. Но я вам отложу. Вы потом подойдете вне очереди, и я вам выдам, как броню.

Хорошо быть в тридцать четыре года молодым, красивым, ехать вперед в плацкартном вагоне и получать билеты без очереди, как броню. Но противно.

Юрий отошел от кассы и сразу увидел другую. «Аэрофлота». Здесь билеты были для всех. И автобус через пятнадцать минут, так удачно. Прямо от вокзала подвезут к самолету...

Он стоял у автобуса, крепко сжимая билет. Его толкали

и обходили, пока догадался посторониться. Всю жизнь мечтал куда-то уехать совсем без вещей. Налегке. Оборвав привычные связи. Или увезя их с собой. Об этом, впрочем, не думалось. В том-то и дело, что не думалось...

Борька сейчас сидит в школе и разными своими ушами ловит разные умные вещи, нужные человеку. А скорее всего – не ловит, но сидит все-таки очень тихо, Борька все же прилежный мальчик. Борьку он потерял совсем, это надо принять. Понять это невозможно, но принять придется. Лена? Лена – ясно.

Хутгер сейчас уже ведет репетицию. Просто начал сегодня не по порядку, с третьей картины, где Юрий не занят. И ужасно весело удивляется вслух, почему же главный герой так опаздывает. И незаметно подносит часы близко к пенсне, в зале слишком темно. И думает, что же дальше.

А Наташа стоит за кулисами в ожидании выхода и очень естественно отвечает всем, что сама не понимает, где это Юрий застрял. И только чуть-чуть растягивает слова. И только чуточку громче смеется на привычные шутки, чем обычно. Но никто пока этого не замечает.

Хорошо уезжать в такую погоду. Ясно. Морозно. И снег будет скрипеть под шинами, как под санями. Сухо и хрупко. Как долго эта посадка...

Когда автобус, наконец, тронулся, Юрий проводил его взглядом до поворота, потом скомкал билет и бросил его мимо урны. Все.

Времени было в обрез, и Юрий шел очень быстро.